

БУЛАТ ОКУДЖАВА

БУЛАТ ОКУДЖАВА

*надежды
маленький
оркестрик*







Сочинения Булата Окуджавы



БУЛАТ ОКУДЖАВА

*надежды
маленький
оркестрик*

*Лирика
50^е - 70^е*

Екатеринбург
«У-Фактория»
2002

ББК 84(2Рос=Рус)6
О52

Художник
Галина Ваншенкина

*Книга издана при участии
Фонда Булата Окуджавы
и АКБ
«Инвестиционной
Банковской
Корпорации»*

ISBN 5-94176-058-2

© О. В. Окуджава
(правонаследник), 2000
© Г. К. Ваншенкина,
художественное
оформление, 2001
© ООО «Издательский центр
«У-Фактория», составление,
2001



Песенка о ночной Москве

Б. Ахмадулиной

Когда внезапно возникает
еще неясный голос труб,
слова, как ястребы ночные,
срываются с горячих губ,
мелодия, как дождь случайный,
гремит; и бродит меж людьми
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.

В года разлук, в года сражений,
когда свинцовые дожди
лупили так по нашим спинам,
что снисхождения не жди,
и командиры все охрипли...
Тогда командовал людьми
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.

Кларнет пробит, труба помята,
фагот, как старый посох, стерт,
на барабане швы разлезлись...
Но кларнетист красив, как черт!

Флейтист, как юный князь, изящен...
И вечно в сговоре с людьми
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.

На Тверском бульваре

На Тверском бульваре
вы не раз бывали,
но не было, чтоб места не хватило
на той скамье зеленой,
на перенаселенной,
как будто коммунальная квартира.

Та зеленая скамья,
я признаюсь без вранья,
даже в стужу согревала непутевого меня.

А с той скамьи зеленой,
с перенаселенной,
случается, и при любой погоде
одни уходят парами
дорожками бульварными,
другие в одиночестве уходят.

Та зеленая скамья,
я признаюсь без вранья,
для одних недолгий берег,
для других дымок жилья.

* * *

Эта женщина! Увижу и немею.
Потому-то, понимаешь, не гляжу.
Ни кукушкам, ни ромашкам я не верю
и к цыганкам, понимаешь, не хожу.

Напророчат: не люби ее такую,
набормочут: до рассвета заживет,
наколдуют, нагадают, накукуют...
А она на нашей улице живет!

* * *

Ю.Нагибину

Неистов и упрямя,
гори, огонь, гори.
На смену декаблям
приходят январь.

Нам все дано сполна —
и горести, и смех,
одна на всех луна,
весна одна на всех.

Прожить лета б дотла,
а там пускай ведут
за все твои дела
на самый страшный суд.

Пусть оправданья нет
и даже век спустя...
Семь бед — один ответ,
один ответ — пустяк.

Неистов и упрямя,
гори, огонь, гори.
На смену декаблям
приходят январь.

Синька

В южном прифронтовом городе на рынке
торговали цыганки развесной синькой.
Торговали цыганки, нараспев голосили:
«Синяя синька! Лиля-лиля!»

С прибаутками торговали цыганки
на пустом рынке, в рядах пустых,
а черные мужья крутили сигарки,
и пальцы шевелились в бородах густых.

А жители от смерти щели копали.
Синьку веселую они не покупали.
Было вдоволь у них синевы под глазами,
синего мрака погребов наказания,
синего инея по утрам на подушках,
синей золы в печурках потухших...

И все же не хватало им синего-синего,
как матери — сына, как каравая сытного,
а синька была цвета синего неба,
которого давно у них не было, не было.

И потому, наверное, на пустом рынке,
пестрые юбки по ветру кружа,
торговали цыганки (чудеса!) синькой,
довоенной роскошью, без барыша.

Веселый барабанщик

Встань пораньше, встань пораньше, встань
пораньше,
когда дворники маячат у ворот.
Ты увидишь, ты увидишь, как веселый
барабанщик
в руки палочки кленовые берет.

Будет полдень, суматохою пропахший,
звон трамваев и людской водоворот,
но прислушайся — услышишь, как веселый
барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.

Будет вечер — заговорщик и обманщик,
темнота на мостовые упадет,
но взглядишь — и ты увидишь, как веселый
барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.

Грохот палочек... то ближе он, то дальше,
сквозь сумятицу, и полночь, и туман...
Неужели ты не слышишь, как веселый
барабанщик
вдоль по улице проносит барабан?!

* * *

Время идет, хоть шути — не шути,
как морская волна вдруг нахлынет и скроет...
Но погоди, это всё впереди,
дай надышаться Москвою.

Мало прошел я дорогой земной.
Что же рвешь ты не в срок пополам мое сердце?
Ну не спеши, это будет со мной,
ведь никуда мне не деться.

Видишь тот дом? Там не гасят огня,
там друзья меня ждут не больным, не отпетым...
Да не спеши! Как же им без меня?
Надо ведь думать об этом.

Дай мне напиться воды голубой,
придержи до поры и тоску и усталость...
Ну потерпи, разочтемся с тобой —
я должником не останусь.

* * *

Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье,
живите, будто заново, все начинайте снова!
У порога, как тревога, ждет нас новое житье
и товарищ Надежда по фамилии Чернова.

Глаза ее суровы, их приговор таков:
чтоб на заре без паники, чтоб вещи были собраны,
чтоб каждому мужчине — по паре пиджаков
и чтобы ноги — в сапоги, а сапоги — под седлами.

Прощайте, прощайте, наш путь предельно чист,
нас ждет веселый поезд, и два венка терновых,
и два звонка медовых, и грустный машинист —
товарищ Надежда по фамилии Чернова.

Ни прибыли, ни убыли не будем мы считать —
не надо, не надо, чтоб становилось тошно!
Мы успели всяких книжек сорок тысяч прочитать
и узнали, что к чему и что почем, и очень точно.

* * *

Не верь войне, мальчишка,
не верь: она грустна.
Она грустна, мальчишка,
как сапоги тесна.

Твои лихие кони
не смогут ничего:
ты весь — как на ладони,
все пули — в одного.

* * *

...И когда удивительно близко
остается идти до тебя,
отправляется нежность на приступ,
в свои тихие трубы трубя.

И поротно, и побатальонно
льется в душу она сгоряча,
и ее голубые знамена
на твои упадают плеча.

Знаешь, Оля, на улочке этой,
где старинные стынют дома,
в поединках сходились поэты,
гимназистки сходили с ума.

Продолжается жизни движенье
вдоль по улочке. Век непочат.
Продолжается листьев круженье,
каблуки по асфальту стучат.

И за щедрой твоею рукою
что-то брезжится мне впереди,
и в груди назревает такое,
что уже не хватает груди.

* * *

Глаза, словно неба осеннего свод,
и нет в этом небе огня,
и давит меня это небо и гнет —
вот так она любит меня.

Прощай. Расстаемся. Пощады не жди!
Все явственней день ото дня,
что пусто в груди, что темно впереди —
вот так она любит меня.

Ах, мне бы уйти на дорогу свою,
достоинство молча храня!
Но старый солдат, я стою, как в строю...
Вот так она любит меня.

Голубой шарик

Девочка плачет: шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.

Девушка плачет: жениха все нет.
Ее утешают, а шарик летит.

Женщина плачет: муж ушел к другой.
Ее утешают, а шарик летит.

Плачет старушка: мало пожила...
А шарик вернулся, а он голубой.

* * *

Не бродяги, не пропойцы,
за столом семи морей
вы пропойте, вы пропойте
славу женщине моей!

Вы в глаза ее взгляните,
как в спасение свое,
вы сравните, вы сравните
с близким берегом ее.

Мы земных земней. И вовсе
к черту сказки о богах!
Просто мы на крыльях носим
то, что носят на руках.

Просто нужно очень верить
этим синим маякам,
и тогда нежданный берег
из тумана выйдет к вам.

Ванька Морозов

А. Межирову

За что ж вы Ваньку-то Морозова?
Ведь он ни в чем не виноват.
Она сама его морочила,
а он ни в чем не виноват.

Он в старый цирк ходил на площади
и там циркачку полюбил.
Ему чего-нибудь попроще бы,
а он циркачку полюбил.

Она по проволке ходила,
махала белой рукой,
и страсть Морозова схватила
своей мозолистой рукой.

А он швырял в «Пекине» сотни,
ему-то было все равно.
А по нему Маруся сохнет,
и это ей не все равно.

А он медузами питался,
циркачке чтобы угодить.
И соблазнить ее пытался,
чтоб ей, конечно, угодить.

Не думал, что она обманет:
ведь от любви беды не ждешь...
Ах, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня?
Ведь сам по проволке идешь!



* * *

А. Шуб

Нева Петровна, возле вас — всё львы.
Они вас охраняют молчаливо.
Я с женщинами не бывал счастливым,
вы — первая. Я чувствую, что — вы.

Послушайте, не ускоряйте бег,
банальным славословьем вас не трону:
ведь я не экскурсант, Нева Петровна,
я просто одинокий человек.

Мы снова рядом. Как я к вам привык!
Я всматриваюсь в ваших глаз глубины.
Я знаю: вас великие любили,
да вы не выбирали, кто велик.

Бывало, вы идете на проспект,
не вслушиваясь в титулы и званья,
а мраморные львы — рысцой за вами
и ваших глаз запоминают свет.

И я, бывало, к тем глазам нагнусь
и отражусь в их океане синем
таким счастливым, молодым и сильным...
Так отчего, скажите, ваша грусть?

Пусть говорят, что прошлое не в счет.
Но волны набегают, берег точат,
и ваше платье цвета белой ночи
мне третий век забыться не дает.

* * *

О. Батраковой

Мне нужно на кого-нибудь молиться.
Подумайте, простому муравью
вдруг захотелось в ноженьки валиться,
поверить в очарованность свою!

И муравья тогда покой покинул,
все показалось будничным ему,
и муравей создал себе богиню
по образу и духу своему.

И в день седьмой, в какое-то мгновенье,
она возникла из ночных огней
без всякого небесного знаменья...
Пальтишко было легкое на ней.

Все позабыв — и радости, и муки,
он двери распахнул в свое жильё
и целовал обветренные руки
и старенькие туфельки ее.

И тени их качались на пороге,
безмолвный разговор они вели,
красивые и мудрые, как боги,
и грустные, как жители земли.

Вобла

Холод войны немилосерд и точен.
Ей равнодушия не занимать.

...Пятеро голодных сыновей и дочек
и одна отчаянная мать.

И каждый из нас глядел в оба,
как по синей клеенке стола
случайная одинокая вобла
к земле обетованной плыла,
как мама руками теплыми
за голову воблу брала,
к телу гордому ее прикасалась,
раздевала ее догола...
Ах, какой красавицей вобла казалась!
Ах, какую крошечной вобла была!
Она клала на плаху буйную голову,
и летели из-под руки
навстречу нашему голоду
чешуи пахучие медяки.

А когда-то кружок звон, как звон наковален,
как колоколов перелив...
Знатоки ее по пивным смаковали,
королевою снеди пивной нарекли.

...Пятеро голодных сыновей и дочек.
Удар ножа горяч как огонь.
Вобла ложилась кусочек в кусочек —
по сухому кусочку в сухую ладонь.
Нас покачивало военным ветром,
и, наверное, потому
плыла по клеенке счастливая жертва
навстречу спасению моему.

* * *

На белый бал берез не соберу.
Холодный хор хвои хранит молчанье.
Кукушки крик, как камешек отчаянья,
все катится и катится в бору.

И все-таки я жду из тишины
(как тот актер, который знает цену
чужим словам, что он несет на сцену)
каких-то слов, которым нет цены.

Ведь у надежд всегда счастливый цвет,
надежный и таинственный немного,
особенно, когда глядишь с порога,
особенно, когда надежды нет.

Песенка о солдатских сапогах

Вы слышите: грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки?
Вы поняли, куда они глядят?

Вы слышите: грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней...
Уходит взвод в туман-туман-туман...
А прошлое ясней-ясней-ясней.

А где же наше мужество, солдат,
когда мы возвращаемся назад?
Его, наверно, женщины крадут
и, как птенца, за пазуху кладут.

А где же наши женщины, дружок,
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом,
но в нашем доме пахнет воровством.

А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
А по полям жиреет воронье,
а по пятам война грохочет вслед.

И снова переулком — сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки...
В затылки наши круглые глядят.

Король

Б. Федорову

Во дворе, где каждый вечер все играла радиола,
где пары танцевали, пыля,
ребята уважали очень Леньку Королева
и присвоили ему званье короля.

Был король, как король, всемогущ. И если другу
станет худо и вообще не повезет,
он протянет ему свою царственную руку,
свою верную руку, — и спасет.

Но однажды, когда «мессершмитты», как вороны,
разорвали на рассвете тишину,
наш Король, как король, он кепчонку, как корону —
набекрень, и пошел на войну.

Вновь играет радиола, снова солнце в зените,
да некому оплакать его жизнь,
потому что тот король был один (уж извините),
королевой не успел обзавестись.

Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота
(по делам или так, погулять),
все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом
Короля повстречаю опять.

Потому что на войне, хоть и правда стреляют,
не для Леньки сырая земля.
Потому что (виноват), но я Москвы не представляю
без такого, как он, короля.

Ангелы

Выходят танки из леска,
устало роют снег,
а неотступная тоска
бредет за ними вслед.

Победа нас не обошла,
да крепко обожгла.
Мы на поминках водку пьем,
да ни один не пьян.

Мы пьем напропалую
одну, за ней вторую,
пятую, десятую,
горькую десантную.

Она течет, и хоть бы черт,
ну хоть бы что — ни капельки...
Какой учет, когда течет?
А на закуску — яблоки.

На рынке не развешенные
дрожашею рукой,
подаренные женщиной,
заплаканной такой.

О ком ты тихо плакала?
Все, знать, не обо мне,
пока я топал ангелом
в защитной простыне.

Ждала, быть может, слова,
а я стоял едва,
и я не знал ни слова,
я все забыл слова.

Слова, слова... О чем они?
И не припомнишь всех.
И яблочко моченое
упало прямо в снег.

На белом снегу
лежит оно.
Я к вам забегу
давным-давно,

как еще до войны,
как в той тишине,
когда так нужны
вы не были мне...

Первый день на передовой

Волнения не выдавая,
оглядываюсь, не расспрашивая.
Так вот она — передовая!
В ней ничего нет страшного.

Трава не выжжена, лесок не хмур,
и до поры
объявляется перекур.
Звенят комары.

Звенят, звенят
возле меня.
Летят, летят —
крови моей хотят.

Отбиваюсь в изнеможении
и вдруг попадаю в сон:
дым сражения, окружение,
гибнет, гибнет мой батальон.

А пули звенят
возле меня.
Летят, летят —
крови моей хотят.

Кричу, обессилев,
через хрипоту:
«Пропадаю!»

И к ногам осины,
весь в поту,
припадаю.

Жить хочется!
Жить хочется!
Когда же это кончится?

Мне немного лет...
гибнуть толку нет...
я ночных дозоров не выстоял...
я еще ни разу не выстрелил...

И в сопревшую листву зарываюсь
и просыпаюсь...

Я, к стволу осины прислонившись, сижу,
я в глаза товарищам гляжу-гляжу:
а что, если кто-нибудь в том сне побывал?
А что, если видели, как я воевал?

Полночный троллейбус

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.

Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры — матросы твои —
приходят
на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.

Полночный троллейбус плывет по Москве,
Москва, как река, затухает,
и боль, что скворчонком стучала в виске,
стихает,
стихает.

Медсестра Мария

А что я сказал медсестре Марии,
когда обнимал ее?

— Ты знаешь, а вот офицерские дочери
на нас, на солдат, не глядят.

А поле клевера было под нами,
тихое, как река.

И волны клевера набегали,
и мы качались на них.

И Мария, раскинув руки,
плыла по этой реке.

И были черными и бездонными
голубые ее глаза,

И я сказал медсестре Марии,
когда наступил рассвет:

— Нет, ты представь: офицерские дочери
на нас и глядеть не хотят.

Новое утро

Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид.
Мама, белая голубушка,
утро новое горит.

Все оно смывает начисто,
все разглаживает вновь...
Отступает одиночество,
возвращается любовь.

И сладки, как в полдень пасеки,
как из детства голоса,
твои руки, твои песенки,
твои вечные глаза.

* * *

Настоящих людей так немного!
Всё вы врете, что век их настал.
Посчитайте и честно, и строго,
сколько будет на каждый квартал.

Настоящих людей очень мало:
на планету — совсем ерунда,
на Россию — одна моя мама,
только что ж она может одна?

Песенка об открытой двери

Когда метель кричит как зверь —
протяжно и сердито,
не запирайте вашу дверь,
пусть будет дверь открыта.

А если ляжет дальний путь,
нелегкий путь, представьте,
дверь не забудьте распахнуть,
открытой дверь оставьте.

И, уходя, в ночной тиши
без долгих слов решайте:
огонь сосны с огнем души
в печи перемешайте.

Пусть будет теплою стена
и мягкой скамейка...
Дверям закрытым — грош цена,
замку цена — копейка!

Песенка о Фонтанке

По Фонтанке, по Фонтанке, по Фонтанке
лодки белые холеные плывут.

На Фонтанке, на Фонтанке, на Фонтанке
ленинградцы удивленные живут.

От войны еще красуются плакаты,
и погибших еще снятся голоса.
Но давно уж — ни осады, ни блокады —
только ваши удивленные глаза.

Я — приезжий. Скромно стану в отдаленье.
Слов красивых и напрасных не скажу:
что я знаю?

Лишь на ваше удивленье
удивленными глазами погляжу.

Московский муравей

Не тридцать лет, а триста лет иду, представьте вы,
по этим древним площадям, по голубым торцам.
Мой город носит высший чин и звание Москвы,
но он навстречу всем гостям всегда выходит сам.

Иду по улицам его в рассветной тишине,
бегу по улочкам кривым (простите, города)...
Но я — московский муравей, и нет покоя мне —
так было триста лет назад и будет так всегда.

Ах, этот город, он такой, похожий на меня:
то грустен он, то весел он, но он всегда высок...
Что там за девочка в руке несет кусочек дня,
как будто завтрак в узелке мне, муравью, несет?

* * *

Часовые любви на Смоленской стоят.
Часовые любви у Никитских не спят.
Часовые любви по Петровке идут неизменно...
Часовым полагается смена.

О, великая вечная армия,
где не властны слова и рубли,
где все — рядовые: ведь маршалов нет у любви!
Пусть поход никогда ваш не кончится.
Признаю только эти войска!..
Сквозь зимы и вьюги к Москве подступает весна.

Часовые любви на Волхонке стоят.
Часовые любви на Неглинной не спят.
Часовые любви по Арбату идут неизменно...
Часовым полагается смена.

* * *

Ст. Рассадину

Мой мальчик, нанося обиды,
о чем заботятся враги?
Чтоб ты не выполз недобитый,
на их нарвавшись кулаки.

Мой мальчик, но — верны и строги —
о чем заботятся друзья?
Чтоб не нашел ты к ним дороги,
свои тревоги пронося.

И все-таки, людьми ученый,
еще задолго до седин,
рванешь рубаху обреченно,
едва останешься один.

И вот тогда-то, одинокий,
как в зоне вечной мерзлоты,
поймешь, что все, как ты, двуноги,
и все изранены, как ты.

* * *

Дома лучше (что скрывать?),
чем на площади холодной:
здесь хоть стулья да кровать,
там — всего лишь флаг бесплодный.

Здесь, хоть беден, хоть богат,
остаюсь самим собою.
Здесь я — барин, там — солдат,
и разлука за спиною.

* * *

Жизнь моя — странствия. Прощай! Пиши!
Мне нужно выяснить не за рубли:
широки ли пространства твоей души,
велико ль государство моей любви.

* * *

Эта женщина такая:
ничего не говорит,
очень трудно привыкает,
очень долго не горит.

Постепенно, постепенно
поднимается, кружа
по ступеням, по ступеням
до чужого этажа.

До далекого, чужого,
до заоблачных высот...
и, прищурясь, смотрят жены,
как любить она идет,

как идет она — не шутит,
хоть моли, хоть не моли...
И уходят в норы судьбы
коммунальные мои.

* * *

Я уйду от пули, делаю отчаянный рывок.
Я снова живой на выжженном теле Крыма.
И вырастают вместо крыльев тревог
за моей человеческой спиной надежды крылья.

Васильками над бруствером, уцелевшими от огня,
склонившимися над выжившим отделением,
жизнь моя довоенная разглядывает меня
с удивлением.

До первой пули я хвастал: чего не могу посметь?
До первой пули врал я напропалую.
Но свистнула первая пуля, кого-то накрыла смерть,
а я приготовился пулю встретить вторую.

Ребята, когда нас выплеснет из окопа четкий приказ,
не растопчите этих цветов в наступленье!
Пусть синими их глазами глядит и глядит на нас
идущее за нами поколение.

* * *

Е. Рейну

Из окон корочкой несет поджаристой.
За занавесками — мельканье рук.
Здесь остановки нет, а мне — пожалуйста:
шофер в автобусе — мой лучший друг.

А кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький, спеши, спеши!
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный
в любую сторону твоей души.

Я знаю, вечером ты в платье шелковом
пойдешь по улицам гулять с другим...
Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать,
попридержи-ка их, поговорим!

Она в спецовочке, в такой промасленной,
берет немыслимый такой на ней...
Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы...
Куда же гонишь ты своих коней!

Но кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький спешит-спешит.
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный
в любую сторону твоей души!

Песенка о комсомольской богине

Я смотрю на фотокарточку:
две косички, строгий взгляд,
и мальчишеская курточка,
и друзья кругом стоят.

За окном все дождик тенькает:
там ненастье на дворе.
Но привычно пальцы тонкие
прикоснулись к кобуре.

Вот скоро дом она покинет,
вот скоро вспыхнет бой кругом,
но комсомольская богиня...
Ах, это, братцы, о другом!

На углу у старой булочной,
там, где лето пыль метет,
в синей маечке-футболочке
комсомолочка идет.

А ее коса острижена,
в парикмахерской лежит.
Лишь одно колечко рыжее
на виске ее дрожит.

И никаких богов в помине,
лишь только дела гром кругом,
но комсомольская богиня...
Ах, это, братцы, о другом!

Искала прачка клад

На дне глубокого корыта
так много лет подряд
не погребенный, не зарытый
искала прачка клад.

Корыто от прикосновенья
звенело под струну,
и плыли пальцы, розовея,
и шарили по дну.

Корыта стенки как откосы,
омытые волной.
Ей снился сын беловолосый
над этой глубиной.

И что-то очень золотое,
как в осень листопад...
И билась пена о ладони —
искала прачка клад.

До свидания, мальчики

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли —
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом — солдат...
До свидания, мальчики!

Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите,

и все-таки
постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб — разлуки и дым,
наши девочки платица белые
раздарили сестренкам своим.
Сапоги — ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идете войной наугад...
До свидания, девочки!

Девочки,
постарайтесь вернуться назад.

* * *

На арбатском дворе — и веселье и смех.
Вот уже мостовые становятся мокрыми.
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег.
Мы устроим ему веселые похороны.

По кладовкам по темным поржавеют коньки,
позабывшие лыжи по углам покоробятся...
Плачьте, дети!
Из-за белой реки
скоро-скоро кузнечики к нам заторопятся.

Будет много кузнечиков. Хватит на всех.
Вы не будете, дети, гулять в одиночестве...
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег.
Мы ему воздадим генеральские почести.

Заиграют грачи над его головой,
грохнет лед на реке в лиловые трещины...
Но останется снежная баба вдовой...
Будьте, дети, добры и внимательны к женщине.

* * *

Горит пламя, не чадит.
Надолго ли хватит?
Она меня не щадит —
тратит меня, тратит.

Быть недолго молодым,
скоро срок догонит.
Неразменным золотым
покачусь с ладони.

Потемнят меня ветра,
дождичком окатит...
А она щедра, щедра —
надолго ли хватит?

* * *

Сто раз закат краснел, рассвет синел,
сто раз я клял тебя, песок моздокский,
пока ты жег насквозь мою шинель
и блиндажа жевал сухие доски.

А я жевал такие сухари!
Они хрустели на зубах, хрустели...
А мы шинели рваные расстелим —
и ну жевать. Такие сухари!

Их десять лет сушили, не соврать,
да ты еще их выбелил, песочек...
А мы, бывало, их в воде размочим —
и ну жевать, и крошек не собирать.

Сыпь пощедрей, товарищ старшина!
Пируем — и солдаты и начальство...
А пули? Пули были. Били часто.
Да что о них рассказывать — война.

Тамань

Год сорок первый. Зябкий туман.
Уходят последние солдаты в Тамань.

А ему подписан пулей приговор.
Он лежит у кромки береговой,
он лежит на самой передовой:
ногами — в песок, к волне — головой.

Грязная волна наползет едва —
приподнимется слегка голова;
вспять волну прилив отнесет —
ткнется устало голова в песок.

Эй, волна! Перестань, не шамань:
не заманишь парня в Тамань...

Отучило время меня дома сидеть.
Научило время меня в прорезь глядеть.
Скоро ли — не скоро, на том ли берегу
я впервые выстрелил на бегу.

Отучило время от доброты:
атака, атака, охрипшие рты...
Вот и я гостинцы раздаю-раздаю...
Ты прости меня, мама, за щедрость мою.

* * *

На мне костюмчик серый-серый,
совсем как серая шинель.
И выхожу я на эстраду
и тихим голосом пою.

А люди в зале плачут-плачут —
не потому, что славен я,
и не меня они жалеют,
а им себя, наверно, жаль.

Жалейте, милые, жалейте,
пока жалеется еще,
пока в руке моей гитара,
а не тяжелый автомат.

Жалейте, будто бы в дорогу
вы провожаете меня...
На мне костюмчик серый-серый.
Он весь — как серая шинель.

* * *

Магическое «два». Его высоты,
его глубины... Как мне превозмочь?
Два соболя, два сокола, две сойки,
закаты и рассветы, день и ночь,
две матери, которым верю слепо,
две женщины, и, значит, два пути,
два вероятных выхода, два неба —
там, наверху, и у меня в груди.
И, залитый морями голубыми,
расколотый кружится шар земной...
...а мальчишки торгуют голубями
по-прежнему. На площади Сенной.

Песенка про Черного кота

Со двора подъезд известный
под названьем «черный ход».
В том подъезде, как в поместье,
проживает Черный кот.

Он в усы усмешку прячет,
темнота ему как щит.
Все коты поют и плачут —
этот Черный кот молчит.

Он и звука не проронит —
только ест и только пьет,
грязный пол когтями тронет
как по горлу проскребет.

Он давно мышей не ловит,
усмехается в усы,
ловит нас на честном слове,
на кусочке колбасы.

Он не требует, не просит,
желтый глаз его горит,
каждый сам ему выносит
и спасибо говорит.

Оттого-то, знать, не весел
дом, в котором мы живем...
Надо б лампочку повесить —
денег всё не соберем.

* * *

Б. Ахмадулиной

Рифмы, милые мои,
баловни мои, горячки!
Вы — как будто соловьи
из бессонниц и горячки,
вы — как музыка за мной,
умопомраченья вроде,
вы — как будто шар земной,
вскрикнувший на повороте.

С вами я, как тот богач,
и куражусь и чудачу,
но из всяких неудач
выбираю вам удачу...
Я как всадник на коне
со склоненной головою...

Господи, легко ли мне?
Вам-то хорошо ль со мною?

* * *

Раскрываю страницы ладоней,
молчаливых ладоней твоих,
что-то светлое и молодое,
удивленное смотрит из них.

Я листаю страницы. Маячит
пережитое. Я как в плену.
Вот какой-то испуганный мальчик
сам с собою играет в войну.

Вот какая-то женщина плачет —
очень падают слезы в цене,
и какой-то задумчивый мальчик
днем и ночью идет по войне.

Я листаю страницы, листаю,
исступленно листаю листы:
пережитого громкие стаи,
как синицы, летят на кусты.

И уже не найти человека,
кто не понял бы вдруг на заре,
что погода двадцатого века
началась на арбатском дворе.

О, ладони твои всё умеют,
все, что было, читаю по ним,
и, когда мои губы немеют,
припадаю к ладоням твоим,
припадаю к ладоням горячим,
в синих жилках веселых тону...

Кто там плачет?

Никто там не плачет...

Просто дети играют в войну!

Три сестры

Опустите, пожалуйста, синие шторы.
Медсестра, всяких снадобий мне не готовь.
Вот стоят у постели моей кредиторы
молчаливые: Вера, Надежда, Любовь.

Раскошелиться б сыну недолгого века,
да пусты кошельки упадают с руки...
— Не грусти, не печалуйся, о моя Вера, —
остаются еще у тебя должники!

И еще я скажу и бессильно и нежно,
две руки виновато губами ловя:
— Не грусти, не печалуйся, мать Надежда, —
есть еще на земле у тебя сыновья!

Протяну я Любви ладони пустые,
покаянный услышу я голос ее:
— Не грусти, не печалуйся, память не стынет,
я себя раздарила во имя твое.
Но какие бы руки тебя ни ласкали,
как бы пламень тебя ни сжигал неземной,
в троекратном размере болтливость людская
за тебя расплатилась... Ты чист предо мной!

Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных,
белым флагом струится на пол простыня...
Три сестры, три жены, три судьи милосердных
открывают бессрочный кредит для меня.

Бумажный солдатик

Один солдат на свете жил,
красивый и отважный,
но он игрушкой детской был:
ведь был солдат бумажный.

Он переделать мир хотел,
чтоб был счастливым каждый,
а сам на ниточке висел:
ведь был солдат бумажный.

Он был бы рад — в огонь и в дым,
за вас погибнуть дважды,
но потешались вы над ним:
ведь был солдат бумажный.

Не доверяли вы ему
своих секретов важных,
а почему?
А потому,
что был солдат бумажный.

А он, судьбу свою кляня,
нетихой жизни жаждал.
И все просил: «Огня! Огня!» —
забыв, что он бумажный.

В огонь? Ну что ж, иди! Идешь?
И он шагнул однажды,
и там сгорел он ни за грош:
ведь был солдат бумажный.

* * *

О. Батраковой

...И когда под вечер над тобою
журавли охрипшие летят,
ситцевые женщины толпою
сходятся — затмить тебя хотят.

Молчаливы. Ко всему готовы.
Окружают, красотой соря...
Ситцевые, ситцевые, что вы!
Вы с ума сошли: она ж — своя!

Там, за поворотом Малой Бронной,
где окно распахнуто на юг,
за ее испуганные брови
десять пар непуганых дают.

Тех, которые ее любили,
навсегда связала с ней судьба.
И за голубями голубыми
больше не уходят ястреба.

Вот и мне не вырваться из плена.
Так кружиться мне, и так мне жить...

Я — алхимик.
Ты — моя проблема
вечная...
тебя не разрешить.

Джазисты

Ст. Рассадину

Джазисты уходили в ополчение,
цивильного не скинув облаченья.
Тромбонов и чечеток короли
в солдаты необученные шли.

Кларнетов принцы, словно принцы крови,
магистры саксофонов шли, и, кроме,
шли барабанных палок колдуны
скрипучими подмостками войны.

На смену всем оставленным заботам
единственная зрела впереди,
и скрипачи ложились к пулеметам,
и пулеметы бились на груди.

Но что поделаться, что поделаться, если
атаки были в моде, а не песни?
Кто мог тогда их мужество учесть,
когда им гибнуть выпадала честь?

Едва затихли первые сраженья,
они рядком лежали. Без движенья.
В костюмах предвоенного шитья,
как будто притворяясь и шутя.

Редели их ряды и убывали.
Их убивали, их позабывали.

И все-таки под музыку земли
их в поминанье светлое внесли,

когда на пяточке земного шара
под майский марш, торжественный такой,
отбила каблуки, танцуя, пара
за упокой их душ. За упокой.

Живописцы

Живописцы, окуните ваши кисти
в суету дворов арбатских и в зарю,
чтобы были ваши кисти словно листья.
Словно листья, словно листья к ноябрю.

Окуните ваши кисти в голубое,
по традиции забытой городской,
нарисуйте и прилежно, и с любовью,
как с любовью мы проходим по Тверской.

Мостовая пусть качнется, как очнется!
Пусть начнется, что еще не началось.
Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется...
Что гадать нам: удалось — не удалось?

Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,
наше лето, нашу зиму и весну...
Ничего, что мы чужие, — вы рисуйте!
Я потом, что непонятно, объясню.

Песенка об Арбате

Ты течешь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое призвание.
Ты — и радость моя, и моя беда.

Пешеходы твои — люди не великие,
каблуками стучат — по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты — моя религия,
мостовые твои подо мной лежат.

От любви твоей вовсе не излечишься,
сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое отечество,
никогда до конца не пройти тебя!

* * *

Над синей улицей портовой
всю ночь сияют маяки.
Откинув ленточки фартово,
всю ночь гуляют моряки.

Кричат над городом сирены,
и птицы крыльями шуршат,
и припортовые царевны
к ребятам временным спешат.

Ведь завтра, может быть, проститься
придут ребята, да не те...
Ах, море — синяя водица!
Ах, голубая канитель!

Его затихнуть не умолишь —
взметнутся щепками суда.
Земля надежнее, чем море, —
так почему же вы туда?

Волна соленая задушит —
ее попробуй упросить...
Эх, если б вам служить на суше
да только б ленточки носить!

* * *

А мы швейцару: «Отворите двери!
У нас компания веселая, большая,
приготовьте нам отдельный кабинет!»

А Люба смотрит: что за красота!
А я гляжу: на ней такая брошка!
Хоть напрокат она взята,
пускай потешится немножко.
А Любе вслед глядит один брюнет.
А нам плевать, и мы вразвалочку,
покинув раздевалочку,
идем себе в отдельный кабинет.

На нас глядят бездельники и шлюхи,
Пусть наши женщины не в жемчуге,
послушайте, пора уже,
кончайте ваши «ах» на сто минут.

Здесь тряпками попахивает так...
Здесь смотрят друг на друга сквозь червонцы...
Я не любитель всяких драк,
но мне сказать ему придется,
что я ему попорчу весь уют,
что наши девушки за денежки,
представь себе, паскудина брюнет,
они себя не продают.

Каравай

Вы видели, щиток приоткрывая,
в задумчивой и душной глубине
прищуренные глазки каравая,
когда он сам с собой наедине?

Когда очнуться не хватает мочи,
когда румяный край — под цвет зари...
О чем он думает? О чем бормочет,
ленивые глотая пузыри?

А в нем живут сгоревшие поленья,
старанья мастериц и мастеров.
Он, как последнее стихотворенье,
и добр, и откровенен, и суров.

И задыхается на белом блюде
от радости рожденья своего...
И кланяются караваяю люди
и ломтики уносят от него.

* * *

Разлюбила меня женщина и ушла не спеша.
Кто знает, когда доведется опять с нею встретиться.
А я-то предполагал, что земля — это шар...
Не с кем мне было тогда посоветоваться.

Старый пиджак

Ж.Б.

Я много лет пиджак ношу.
Давно потерялся и не нов он.
И я зову к себе портного
и перешить пиджак прошу.

Я говорю ему шутя:
«Перекроите все иначе.
Сулит мне новые удачи
искусство кройки и шитья».

Я пошутил. А он пиджак
серьезно так перешивает,
а сам-то все переживает:
вдруг что не так. Такой чудак.

Одна забота наяву
в его усердье молчаливом,
чтобы я выглядел счастливым
в том пиджаке. Пока живу.

Он представляет это так:
едва лишь я пиджак примерю —
опять в твою любовь поверю...
Как бы не так. Такой чудак.

* * *

О. Б.

Мы стоим — крестами руки —
безутешны и горды,
на окраине разлуки,
у околицы беды,
где, размеренный и липкий,
неподкупен ход часов,
и улыбки, как калитки,
запираем на засов.
Наступает час расплаты,
подступает к горлу срок...
Ненадежно мы распяты
на крестах своих дорог.

* * *

Г.В.

Тьмою здесь все занавешено
и тишина, как на дне...
Ваше величество женщина,
да неужели — ко мне?

Тусклое здесь электричество,
с крыши сочится вода.
Женщина, ваше величество,
как вы решились сюда?

О, ваш приход — как пожарище.
Дымно, и трудно дышать...
Ну, заходите, пожалуйста.
Что ж на пороге стоять?

Кто вы такая? Откуда вы?!
Ах, я смешной человек...
Просто вы дверь перепутали,
улицу, город и век.

Старый дом

Дом предназначен на слом. Извините,
если господствуют пыль в нем и мрак.
Вы в колокольчик уже не звоните.
Двери распахнуты. Можно и так.

Всё здесь в прошедшем, в минувшем и бывшем.
Ночь неспроста тишину созвала.
Серые мыши, печальные мыши
все до единой ушли со двора.

Где-то теперь собралось их кочевье?
Дом предназначен на слом. Но сквозь тьму,
полно таинственного значенья,
что-то еще шелестит по нему.

Мел осыпается. Ставенька стонет.
Двери надеются на визит.
И удивленно качается столик.
И фотокарточка чья-то висит.

И, припорошенный душною пылью,
помня еще о величье своем;
дом шевелит пожелтевшие крылья
старых газет, поселившихся в нем.

Дом предназначен на слом. Значит, кроме
не улыбнется ему ничего.
Что ж мы с тобой позабыли в том доме?
Или не все унесли из него?

Может быть, это ошибка? А если
это ошибка? А если — она?..
Ну-ка, гурьбой соберемся в подъезде,
где, замирая, звенит тишина!

Ну-ка, взбежим по ступенькам знакомым!
Ну-ка, для успокоенья души
крикнем, как прежде: «Вы дома?.. Вы дома?!»
Двери распахнуты. И ни души.

Черный «мессер»

Вот уже который месяц
и уже который год
прилетает черный «мессер» —
спать спокойно не дает.

Он в окно мое влетает,
он по комнате кружит,
он как старый шмель рыдает,
мухой пойманной жужжит.

Грустный летчик как курортник...
Его темные очки
прикрывают, как намордник,
его томные зрачки.

Каждый вечер, каждый вечер
у меня штурвал в руке,
я лечу к нему навстречу
в довоенном «ястребке».

Каждый вечер в лунном свете
торжествует мощь моя:
я, наверное, бессмертен —
он сдается, а не я.

Он пробоинами мечен,
он сгорает, подожен,
но приходит новый вечер,
и опять кружится он.

И опять я вылетаю,
побеждаю, и опять
вылетаю, побеждаю...
Сколько ж можно побеждать?

* * *

Я жалею собак с нашей улицы:
очень грустно сидеть на цепи...
Все они белозубы и умницы,
только им не хватает степи!

Осень в Кахетии

Вдруг возник осенний ветер, и на землю он упал.
Красный ястреб в листьях красных словно
в краске утопал.

Были листья странно скроены, похожие на лица, —
сумасшедшие закройщики кроили эти листья,
озорные, заводные посшивали их швеи...
Листья падали на палевые пальчики свои.

Называлось это просто: отлетевшая листва.
С ней случалось это часто по традиции по давней.
Было поровну и в меру в ней улыбки и страдания,
торжества и увяданья, колдовства и мастерства.

И у самого порога, где кончается дорога,
веселился, и кружился, и плясал хмельной немного
лист осенний, лист багряный, лист с нелепою
резьбой...
В час, когда печальный ястреб вылетает на разбой.

По Смоленской дороге

Ж.Б.

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге — столбы, столбы, столбы.
Над Смоленской дорогою, как твои глаза, —
две вечерних звезды — голубых моих судьбы.

По Смоленской дороге — метель в лицо, в лицо,
всё нас из дому гонят дела, дела, дела.
Может, будь понадежнее рук твоих кольцо —
покороче б, наверно, дорога мне легла.

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге — столбы гудят, гудят.
На дорогу Смоленскую, как твои глаза,
две холодных звезды голубых глядят, глядят.

Дежурный по апрелю

Ах, какие удивительные ночи!
Только мама моя в грусти и тревоге:
— Что же ты гуляешь, мой сыночек,
одинокий,
одинокий? —
Из конца в конец апреля путь держу я.
Стали звезды и круглее и добрее...
— Мама, мама, это я дежурю,
я — дежурный
по апрелю!

— Мой сыночек, вспоминаю все, что было,
стали грустными глаза твои, сыночек...
Может быть, она тебя забыла,
знать не хочет?
Знать не хочет? —
Из конца в конец апреля путь держу я.
Стали звезды и круглее и добрее...
— Что ты, мама! Просто я дежурю,
я — дежурный
по апрелю...

* * *

Когда известный русский царь в своей поддевочке
короткой,
усмешкой странной на губах и журавлиною походкой
напоминая давний свой портрет в ореховом овале,
входил в присутствие, то все присутствующие
вставали.

В присутствии вставали все, хоть на царе была
поддевка.
Неважно, что таилось в ней: дань старине или
издевка.

Не думая, как взглянем мы на них — с надеждой
или болью, —
они вставали, словно лес, и ран не посыпали солью.

Присутствующие тех лет, предшествующих тем
и прочих,
не оставлявшие следов достойных у порогов отчих,
стремятся в райские врата, все гимны скопом
прооравши,
киркой, лопатой и пером ни разу рук не замаравши.

И мы, присутствуя при сем со дня рожденья и
до смерти,
так расточительны подчас и так жалки в своем
усердьи,
что лишь по нашему труду, по нашей лишь
недоброй воле
растет, растет цена на соль тем более, чем больше боли.

Песенка о московских ополченцах

Над нашими домами разносится набат,
и затемнены улицы одело.
Ты научи любви, Арбат,
а дальше — дальше наше дело.

Гляжу на двор арбатский, надежды не тая,
вся жизнь моя встает перед глазами.
Прощай, Москва, душа твоя
всегда, всегда пребудет с нами!

Расписки за винтовки с нас взяли писаря,
но долю себе выбрали мы сами...
Прощай, Москва, душа твоя
всегда, всегда пребудет с нами!

Гитара

Усталость ноги едва волочит,
гитара корчится под рукой.
Надежда голову мне морочит,
а дождь сентябрьский льет такой...

Мы из компании. Мне привычны
и дождь и ветер, и дождь и ты.
Пускай болтают, что не типичны
в двадцатом веке твои черты.

Пусть друг недолгий в нас камень кинет,
пускай завистник свое кричит —
моя гитара меня обнимет,
интеллигентно она смолчит.

Тебе не первой, тебе не первой
предъявлен веком нелегкий счет.
Моя гитара, мой спутник верный,
давай хоть дождь смахну со щек.

* * *

Л. Лужиной

Непокорная голубая волна
все течет, все течет, не кончается.
Море Черное, словно чаша вина,
на ладони моей всё качается.

Я все думаю об одном, об одном,
словно берег надежды покинувши.
Море Черное, словно чашу с вином,
пью во имя твое, запрокинувши.

Неизменная среди всяких морей,
как расстаться с тобой, не отчаяться?
Море Черное на ладони моей
как баркас уходящий качается.

Песенка веселого солдата

Возьму шинель, и вещмешок, и каску,
в защитную окрашенные краску.
Ударю шаг по улицам горбатым...
Как просто быть солдатом, солдатом.

Забуду все домашние заботы.
Не надо ни зарплаты, ни работы.
Иду себе, играю автоматом...
Как просто быть солдатом, солдатом.

А если что не так — не наше дело:
как говорится, «родина велела».
Как славно быть ни в чем не виноватым
совсем простым солдатом, солдатом.

* * *

В саду Нескучном тишина.
Встает рассвет светло и строго.
А женщину зовут Дорога...
Какая дальняя она!

Песенка о московском трамвае

Раскрасавец двадцатых годов,
позабывший про старость и раны,
он и нынче, представьте, готов
нам служить неустанно.

Он когда-то гремел и блистал,
на него любоваться ходили.
А потом он устал и отстал,
и его позабыли.

По проспектам бежать не дают,
в переулках дожить разрешают,
громких песен о нем не поют,
со смешком провожают.

Но по улицам, через мосты
он бежит, дребезжит и бодрится.
И с горячей ладони Москвы
все сойти не решится.

* * *

Допеты все песни. И точка.
И хватит, и хватит о том.
Ну, может, какая-то строчка
осталась еще за бортом.

Над нею кружатся колеса,
но, даже когда не свернуть,
наивна и простоволоса,
она еще жаждет сверкнуть.

Надейся, надейся, голубка,
свои паруса пораскинь,
ты, хрупкая, словно скорлупка,
по этим морям городским.

Куда тебя волны ни бросят,
на помощь теперь не зови.
С тебя ничего уж не спросят:
как хочется — так и плыви,
подобна мгновенному снимку,
где полночь и двор в серебре,
и мальчик с гитарой в обнимку
на этом арбатском дворе.

* * *

Всю ночь кричали петухи
и шеями мотали,
как будто новые стихи,
закрыв глаза, читали.

Но было что-то в крике том
от едкой той кручины,
когда, согнувшись, входят в дом
постылые мужчины.

И был тот крик далек-далек,
и падал так же мимо,
как гладят, глядя в потолок,
чужих и нелюбимых.

Когда ласкать уже невмочь
и отказаться трудно...
И потому всю ночь, всю ночь
не наступало
утро.

Песенка о пехоте

Простите пехоте,
что так неразумна бывает она:
всегда мы уходим,
когда над землю бушует весна.
И шагом неверным
по лестничке шаткой спасения нет.
Лишь белые вербы,
как белые сестры, глядят тебе вслед.

Не верьте погоде,
когда затяжные дожди она льет.
Не верьте пехоте,
когда она бравые песни поет.
Не верьте, не верьте,
когда по садам закричат соловьи:
у жизни и смерти
еще не окончены счеты свои.

Нас время учило:
живи по-походному, дверь отворя...
Товарищ мужчина,
а все же заманчива доля твоя:
весь век ты в походе,
и только одно отрывает от сна:
чего ж мы уходим,
когда над землю бушует весна?



Шарманка-шарлатанка

Е. Евтушенко

Шарманка-шарлатанка, как сладко ты поешь!
Шарманка-шарлатанка, куда меня зовешь?
Шагаю еле-еле, вершок за пять минут.
Ну как дойти до цели, когда ботинки жмут?

Работа есть работа. Работа есть всегда.
Хватило б только пота на все мои года.
Расплата за ошибки — она ведь тоже труд.
Хватило бы улыбки, когда под ребра бьют.

Часики

Купил часы на браслетке я.
Ты прощай, моя зарплата последняя.
Вижу слезы жены — нету в том моей вины:
это в дверь постучались костяшки войны.

А часики тикают, тикают, тикают,
тикают ночи и дни,
и тихую, тихую, тихую, тихую
жизнь мне пророчат они.

Вот закончилось, значит, сражение.
Вот лежу я в траве без движения.
Голова моя в огне, и браслетка при мне,
а часы как чужие стучат в стороне...

Всё тикают, тикают, тикают, тикают,
тикают ночи и дни,
и тихую, тихую, тихую, тихую
жизнь мне пророчат они.

* * *

Шла война к тому Берлину,
шел солдат на тот Берлин.
Матушка, не плачь по сыну:
у тебя счастливый сын.

Шел не медленно, не быстро,
не жалел солдатских ног.
Матушка, ударил выстрел,
покачнулся твой сынок.

Опрокинулся на спину
и застыл среди осин...
Матушка, поплачь по сыну:
у тебя счастливый сын.

Чудесный вальс

Ю. Левитанскому

Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс.
Он наигрывает вальс то ласково, то страстно.
Что касается меня, то я опять гляжу на вас,
а вы глядите на него, а он глядит в пространство.

Целый век играет музыка. Затянулся наш пикник.
Тот пикник, где пьют и плачут, любят и бросают.
Музыкант приник губами к флейте. Я бы к вам
приник!

Но вы, наверно, тот родник, который не спасает.

А музыкант играет вальс. И он не видит ничего.
Он стоит, к стволу березовому прислонясь плечами.
И березовые ветки вместо пальцев у него,
а глаза его березовые строги и печальны.

А перед ним стоит сосна, вся в ожидании весны.
А музыкант вырастает в землю... Звуки вальса льются...
И его худые ноги как будто корни той сосны —
они в земле переплетаются, никак не расплетутся.

Целый век играет музыка. Затянулся наш роман.
Он затянулся в узелок, горит он — не сгорает...
Ну давайте ж успокоимся! Разойдемся по домам!..
Но вы глядите на него... А музыкант играет.

В Барабанном переулке

В Барабанном переулке барабанщики живут.
Поутру они как встанут, барабаны как возьмут,
как ударят в барабаны, двери настезь отворя...
Где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?

В Барабанном переулке барабанщиц нет, хоть плачь.
Лишь грохочут барабаны ненасытные, хоть прячь.
То ли утренние зори, то ль вечерняя заря...
Где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?

Барабанщик пестрый бантик к барабану привязал,
барабану бить побудку, как по буквам, приказал
и пошел по переулку, что-то в сердце затая...
Где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?

А в соседнем переулке барабанщицы живут
и, конечно, в переулке очень добрыми слывут,
и за ними ведь не надо отправляться за моря...
Где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?!

Александр Сергеевич

С. П. Щипачеву

Не представляю Пушкина без падающего снега,
бронзового Пушкина, что в плащ укрыт.
Когда снежинки белые посыплются с неба,
мне кажется, что бронза тихо звенит.

Не представляю родины без этого звона.
В сердце ее он успел врасти,
как его поношенный сюртук зеленый,
железная трость и перо — в горсти.

Звени, звени, бронза. Вот так и согреешься.
Падайте, снежинки, на плечи ему...
У тех — всё утехи, у этих — всё зрелища,
а Александра Сергеевича ждут в том доме.

И пока, на славу устав надеяться,
мы к благополучию спешим нелегко,
там гулять готовятся господа гвардейцы,
и к столу скликает «Вдова Клико»,

там напропалую, как перед всем светом,
как перед любовью — всегда правы...
Что ж мы осторожничаем? Мудрость не в этом.
Со своим веком можно ль на «вы»?

По Пушкинской площади плещут страсти,
трамвайные жаворонки, грех и смех...
Да не суетитесь вы! Не в этом счастье...
Александр Сергеевич помнит про всех.

Отрада

В будни нашего отряда,
в нашу окопную семью
девочка по имени Отрада
принесла улыбку свою.

И откуда на переднем крае,
где даже земля сожжена,
тонких рук доверчивость такая
и улыбки такая тишина?

Пусть, пока мы шагом тяжелым
проходим по улице в бой,
редкие счастливые жены
над ее злословят судьбой.

Ты клянись, клянись, моя рота,
самой высшей клятвой войны:
перед девочкой с Южного фронта
нет в нас ни грамма вины.

И всяких разговоров отрава,
заливайся воронкою вслед...
Мы идем на запад, Отрада,
а греха перед пулями нет.

Песенка про дураков

Вот так и ведется на нашем веку:
на каждый прилив по отливу,
на каждого умного по дураку,
все поровну, все справедливо.

Но принцип такой дуракам не с руки:
с любых расстояний их видно.
Кричат дуракам: «Дураки! Дураки!...»
А это им очень обидно.

И чтоб не краснеть за себя дураку,
чтоб каждый был выделен, каждый,
на каждого умного по ярлыку
повешено было однажды.

Давно в обиходе у нас ярлыки
по фунту на грошик на медный.
И умным кричат: «Дураки! Дураки!»
А вот дураки незаметны.

* * *

Когда затихают оркестры Земли
и все музыканты ложатся в постели,
по Сивцеву Вражку проходит шарманка —
смешной, отставной, одноногий солдат.

Представьте себе: от ворот до ворот,
в ночи наши жесткие души тревожа,
по Сивцеву Вражку проходит шарманка,
когда затихают оркестры Земли.

* * *

Земля изрыта вкривь и вкось.
Ее, сквозь выстрелы и пенье,
я спрашиваю: «Как терпенье?
Хватает? Не оборвалось —
выслушивать все наши бредни
о том, кто первый, кто последний?»

Она мне шепчет горячо:
«Я вас жалею, дурачье.
Пока вы топчетесь в крови,
пока друг другу глотки рвете,
я вся в тревоге и в заботе.
Изнемогаю от любви.

Зерно спалите — морем трав
взойду над мором и разрухой,
чтоб было чем наполнить брюхо,
покуда спорите, кто прав...»

Мы все — трибуны, смельчаки,
все для свершений народились,
а для нее — озорники,
что попросту от рук отбились.

Мы для нее как детвора,
что средь двора друг друга валит
и всяк свои игрушки хвалит...
Какая глупая игра!

Музыка

Симону Чиковани

Вот ноты звонкие органа
то порознь вступают, то вдвоем,
и шелковые петельки аркана
на горле стягиваются моем.

И музыка передо мной танцует гибко.
И оживает все до самых мелочей:
пылинки виноватая улыбка
так красит глубину ее очей!

Ночной комар, как офицер гусарский, тонок,
и женщина какая-то стоит,
прижав к груди стихов каких-то томик,
и на колени падает старик,

и каждый жест велик, как расстоянье,
и веточка умершая жива, жива...
И стыдно мне за мелкие мои старанья
и за непоправимые слова.

...Вот сила музыки. Едва ли
поспоришь с ней бездумно и легко,
как будто трубы медные зазвали
куда-то горячо и далеко...

И музыки стремительное тело
плывет, кричит неведомо кому:
«Куда вы все?! Да разве в этом дело?!»
А в чем оно? Зачем оно? К чему?!!

...Вот черт, как ничего не надоело!

* * *

В чаду кварталов городских,
среди несметных толп людских
на полдороге к раю
звучит какая-то струна,
но чья она, о чем она,
кто музыкант — не знаю.

Кричит какой-то соловей
отличных городских кровей,
как мальчик, откровенно:
«Какое счастье — смерти нет!
Есть только тьма и только свет —
всегда попеременно».

Столетия строгого дитя,
он понимает не шутя,
в значении высоком:
вот это — дверь, а там — порог,
за ним — толпа, над ней — пророк
и слово — за пророком.

Как прост меж тьмой и светом спор!
И счастлив я, что с давних пор
все это принимаю.
Хотя, куда ты ни взгляни,
кругом пророчества одни,
а кто пророк — не знаю.

Главная песенка

Наверное, самую лучшую
на этой земной стороне
хожу я и песенку слушаю —
она шевельнулась во мне.

Она еще очень неспетая.
Она зелена, как трава.
Но чудится музыка светлая,
и строго ложатся слова.

Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач.

Легко, необычно и весело
кружит над скрещеньем дорог
та самая главная песенка,
которую спеть я не смог.

Ночной разговор

— Мой конь притомился. Стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры.

— Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной реки,
до Синей горы, моя радость, до Синей горы.

— А как мне проехать туда? Притомился мой конь. Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда?

— На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь, езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда.

— А где же тот ясный огонь? Почему не горит? Сто лет подпираю я небо ночное плечом...

— Фонарщик был должен зажечь, да, наверное, спит,
фонарщик-то спит, моя радость... А я ни при чем.

И снова он едет один без дороги во тьму.

Куда же он едет, ведь ночь подступает к глазам!..

— Ты что потерял, моя радость? — кричу я ему.

И он отвечает: — Ах, если б я знал это сам...

Старый король

В поход на чужую страну собирался король.
Ему королева мешок сухарей насушила
и старую мантию так аккуратно зашила,
дала ему пачку махорки и в тряпочке соль.

И руки свои королю положила на грудь,
сказала ему, обласкав его взором лучистым:
«Получше их бей, а не то прослывешь пацифистом,
и пряников сладких отнять у врага не забудь!»

И видит король — его войско стоит средь двора:
пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор.
Сказал им король: «Не страшны нам ни пресса,
ни ветер!
Врага мы побьем и с победой придем, и ура!»

И вот отгремело прощальных речей торжество.
В походе король свою армию переиначил:
веселых солдат интендантами сразу назначил,
а грустных оставил в солдатах — авось ничего.

Представьте себе, наступили победные дни.
Пять грустных солдат не вернулись из схватки военной,
ефрейтор, морально нестойкий, женился на пленной,
но пряников целый мешок захватили они.

Играйте, оркестры! Звучите, и песни, и смех!
Минутной печали не стоит, друзья, предаваться:
ведь грустным солдатам нет смысла в живых
оставаться,
и пряников, кстати, всегда не хватает на всех.

Стихи без названия

Оле

1

Вся земля, вся планета — сплошное «туда».
Как струна, дорога звонка и туга.
Все, куда бы ни ехали, только — туда,
и никто не сюда.
Все — туда и туда.

Остаюсь я один. Вот так. Остаюсь.
Но смеюсь (я признаться боюсь, что боюсь).
Сам себя осуждаю, корю. И курю.
Вдруг какая-то женщина (сердце горит)...
— Вы куда?! — удивленно я ей говорю.
— Я сюда... — так влюбленно она говорит.

«Сумасшедшая! — думаю. — Вот ерунда...
Как же можно «сюда», когда нужно — «туда»?!»

2

Строгая женщина в строгих очках
мне рассказывает о сверчках,
о том, как они свои скрипки
на протянутых носят руках,
о том, как они понемногу,
едва за лесами забрезжит зима,
берут свои скрипки с собою в дорогу
и являются в наши дома.

Мы берем их пальто, приглашаем к столу
и признательные расточаем улыбки,
но они очень скромно садятся в углу,
извлекают свои допотопные скрипки,
расправляют помятые сюртучки,
поднимают над головами смычки,
распрямляют свои вдохновенные усики...
Что за дом, если в нем не пригреты сверчки
и не слышно их музыки!...

Строгая женщина щурится из-под очков,
по столу громоздит угощение...
Вот и я приглашаю заезжих сверчков
за приличное вознаграждение.
Я помятые им вручаю рубли,
их рассаживаю по чину и званию,
и играют они вечный вальс по названию:
«Может быть, наконец, повезет мне в любви...»

3

Я люблю эту женщину. Очень люблю.
Керамический конь увезет нас постранствовать,
будет нас на ухабах трясти и подбрасывать...
Я в Тарусе ей кружев старинных куплю.

Между прочим, Таруса стоит над Окой.
Там торгуют в базарные дни земляникою,
не клубникою, а земляникою, дикою...
Вы, конечно, еще не встречали такой.

Эту женщину я от тревог излечу
и себя отучу от сомнений и слабости,
и совсем не за радости и не за сладости
я награду потом от нее получу.

Между прочим, земля околдует меня
и ее и окружит людьми и деревьями,
и, наверно, уже за десятой деревнею
с этой женщиной мы потеряем коня.

Ах, как гладок и холоден был этот конь!
Позабудь про него. И, как зернышко — в борозду,
ты подкинь-ка, смеясь, августовского хворосту
своей белою пригоршней в красный огонь.

Что ж касается славы, любви и наград...
Где-то ходит, наверно, конь керамический
со своею улыбочкою иронической...
А в костре настоящие сосны горят!

4

Вокзал прощанье нам прокличет,
и свет зеленый расцветет,
и так легко до неприличья
шлагбаум руки разведет.

Не буду я кричать и клясться,
в лицо заглядывать судьбе...
Но дни и версты будут красться
вдоль окон поезда, к тебе.
И лес, и горизонт далекий,
и жизнь, как паровозный дым,
всё — лишь к тебе, как те дороги,
которые когда-то в Рим.

Два великих слова

Не пугайся слова «кровь» —
кровь, она всегда прекрасна,
кровь ярка, красна и страстна,
«кровь» рифмуется с «любовь».

Этой рифмы древний лад!
Разве ты не клялся ею,
самой малостью своею,
чем богат и не богат?

Жар ее неотвратим...
Разве ею ты не клялся
в миг, когда один остался
с вражьей пулей на один?

И когда упал в бою,
эти два великих слова,
словно красный лебедь, снова
прокричали песнь твою.

И когда пропал в краю
вечных зим, песчинка словно,
эти два великих слова
прокричали песнь твою.

Мир качнулся. Но опять
в стуже, пламени и бездне
эти две великих песни
так слились, что не разнять.

И не верь ты докторам,
что для улучшения крови
килограмм сырой моркови
нужно кушать по утрам.

* * *

Оле

Я никогда не витал, не витал
в облаках, в которых я не витал,
и никогда не видал, не видал
городов, которых я не видал.
И никогда не лепил, не лепил
кувшин, который я не лепил,
и никогда не любил, не любил
женщин, которых я не любил...

Так что же я смею? И что я могу?
Неужто лишь то, чего не могу?
И неужели я не добегу
до дома, к которому я не бегу?
И неужели не полюблю
женщин, которых не полюблю?
И неужели не разрублю
узел, который не разрублю,
узел, который не развяжу,
в слове, которого я не скажу,
в песне, которую я не сложу,
в деле, которому не послужу...
в пуле, которую не заслужу?..

Четыре года

С. Орлову

Четвертый год подряд
война — твой дом, солдат.
Но хватит, отгудела непогода.
Есть дом другой —
там ждут и там не спят
четыре года, четыре года.

Здесь словно годы дни,
а там в окне — огни
горят, не позабытые в походах...
Когда б вам знать,
как мне нужны они —
четыре года, четыре года!

Когда кругом темно,
светлей твое окно...
Пора, пора, усталая пехота!
Есть много слов,
но я храню одно
четыре года, четыре года.

Ленинградская музыка

Пока еще звезды последние не отгорели,
вы встаньте, вы встаньте с постели, сойдите к дворам,
туда, где — дрова, где пестреют мазки акварели...
И звонкая скрипка Растрелли послышится вам.

Неправда, неправда, все — враки, что будто бы старят
старанья и годы! Едва вы очутитесь тут,
как в колокола купола золотые ударят,
колонны горластые трубы свои задерут.

Веселую полночь люби — да на утро надейся...
Когда ни грехов и ни горестей не отмолить,
качаясь, игла опрокинется с Адмиралтейства
и в сердце ударит, чтоб старую кровь отворить.

О, вовсе не ради парада, не ради награды,
а просто для нас, выходящих с зарей из ворот,
гремят барабаны гранита, кларнеты ограды
свистят менуэты... И улица России поет!

Как я сидел в кресле царя

Век восемнадцатый. Актеры
играют прямо на траве.
Я — Павел Первый, тот, который
сидит России во главе.

И полонезу я внимаю,
и головою в такт верчу,
по-царски руку поднимаю,
но вот что крикнуть я хочу:

«Срывайте тесные наряды!
Презренье хрупким каблукам...
Я отменяю все парады...
Чешите все по кабакам...
Напейтесь все, переженитесь
кто с кем желает, кто нашел...
А ну, вельможи, оглянитесь!
А ну-ка денежки на стол!..»

И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Но нет, нельзя. Я ж — Павел Первый.
Мне бунт устраивать нельзя.

И снова полонеза звуки.
И снова крикнуть я хочу:
«Ребята, наострите руки,
вам это дело по плечу:
смахнем царя... Такая ересь!
Жандармов всех пошлем к чертям —
мне самому они приелись...
Я поведу вас сам... Я сам...»

И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Но нет, нельзя. Я ж — Павел Первый.
Мне бунт устраивать нельзя.

И снова полонеза звуки.
Мгновение — и закричу:
«За вашу боль, за ваши муки
собой пожертвовать хочу!
Не бойтесь, судей не жалейте,
иначе — всем по фонарю.
Я зрю сквозь целое столетье...
Я знаю, что я говорю!»

И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Да мне ж нельзя. Я — Павел Первый.
Мне бунтовать никак нельзя.

* * *

Затихнет шрапнель, и начнется апрель.
На прежний пиджак поменяю шинель.
Вернутся полки из похода.
Хорошая нынче погода.

Хоть сабля сечет, да и кровь все течет —
брехня, что у смерти есть точный расчет,
что где-то я в поле остался...
Назначь мне свиданье, Настасья.

Все можно пройти, и все можно снести,
а если погибнуть — надежду спасти,
а выжить — как снова родиться...
Да было б куда воротиться.

В назначенный час проиграет трубач,
что есть нам удача среди всех неудач,
что все мы еще молодые,
и крылья у нас золотые.

* * *

Он, наконец, явился в дом,
где она сто лет вздыхала о нем,
куда он сам сто лет спешил:
ведь она так решила и он решил.

Клянусь, что это любовь была.
Посмотри — ведь это ее дела.
Но, знаешь, хоть Бога к себе призови,
все равно ничего не понять в любви.

И поздний дождь в окно стучал,
и она молчала, и он молчал,
и он повернулся, чтобы уйти,
и она не припала к его груди.

Я клянусь, что и это любовь была.
Посмотри — ведь это ее дела.
Но, знаешь, хоть Бога к себе призови,
все равно ничего не понять в любви.

* * *

Нацеленный глаз одинокого лося.
Рога в серебре, и копыта в росе.
А красный автобус вдоль черного леса,
как заяц, по белому лупит шоссе.

Шофер молодую кондукторшу любит.
Ах, только б автобус дошел невредим...
Горбатых снопов золотые верблюды
упрямо и долго шагают за ним.

Шагают столбы по-медвежьи, враскачку,
друг друга ведут, как коней, в поводах,
и птичка какая-то, словно циркачка,
шикарно качается на проводах.

А лес раскрывает навстречу ворота,
и ветки ладонями бьют по лицу.
Кондукторша ахает на поворотах:
ах, ей непривычно с мужчиной в лесу!

Сигнал повисает далекий-далекий.
И смотрят прохожие из-под руки:
там красный автобус на белой дороге,
у черного леса, у синей реки.

Божественное

Когда с фронтона Большого театра,
подковами бронзовыми звеня,
стремительно скатывается квадрига
и мчится в сумерках на меня,
я вижу бег ее напряженный,
она — уже рядом, невдалеке,
там — белокурый Бог обнаженный,
вьюгой февральскою обожженный,
с поводом ненадежным в руке
изгибается на передке.

Стужей февраль пропах и бензином.
Квадрига все ускоряет бег
по магазинам, по магазинам
мимо троллейбусов, через снег,
чтобы под дикий трезвон уздечки
прочно припасть на все времена
к розовым россыпям сытной гречки,
к материкам золотого пшена,
чтоб со сноровкою самой будничной
и с прилежанием на челе
меж пьедесталом своим и булочной
в уличной кружить толчее...

С Духом Святым и Отцом и Сыном
по магазинам... по магазинам...

Храмули

Храмули — серая рыбка с белым брюшком.
А хвост у нее как у кильки, а нос — пирожком.
И чудится мне, будто брови ее взметены
и к сердцу ее все на свете крючки сведены.

Но если взглядеться в извилины жесткого дна —
счастливой подковкою там шевелится она.
Но если всмотреться в движение чистой струи —
она как обрывок еще не умолкшей струны.
И если внимательно вслушаться, оторопев, —
у песни бегущей воды эта рыбка — припев.

На блюде простом, пересыпана пряной травой,
лежит и кивает она голубой головой.
И нужно достойно и точно ее оценить,
как будто бы первой любовью себя осенить.

Потоньше, потоньше колите на кухне дрова,
такие же тонкие, словно признаний слова!

Представьте, она понимает призыванье свое:
и громоподобные пиршества не для нее.
Ей тосты смешны, с позолотою вилки смешны,
ей чуткие пальцы и теплые губы нужны.
Ее не едят, а смакуют в вечерней тиши,
как будто беседуют с ней о спасенье души.

Фрески

1. Охотник

Спасибо тебе, стрела,
спасибо, сестра,
что так ты кругла
и остра,
что оленю в горячий бок
входишь, как Бог!
Спасибо тебе за твое уменье,
за чуткий сон в моем колчане,
за оперенье,
за тихое пенье...
Дай тебе Бог воротиться ко мне!
Чтоб мясу быть жирным на целую треть,
чтоб кровь была густой и липкой,
олень не должен предчувствовать смерть...
Он должен
 умереть
 с улыбкой.

Когда окончится день,
я поклонюсь всем богам...
Спасибо тебе, Олень,
твоим ветвистым рогам,
мясу сладкому твоему,
побуревшему в огне и в дыму...
О Олень, не дрогнет моя рука,
твой дух торопится ко мне под крышу...

Спасибо, что ты не знаешь моего языка
и твоих проклятий я не услышу!
О, спасибо тебе, расстояние, что я
не увидел оленьих глаз,
когда он угас!..

2. Гончар

Красной глины беру прекрасный ломоть
и давить начинаю его, и ломать,
плоть его мять, и месить, и молоть...
И когда остановится гончарный круг,
на красной чашке качнется вдруг
желтый бык — отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий, поющий последний стих,
две красотки зеленых, пять рыб голубых...

Царь, а царь, это рыбы раба твоего,
бык раба твоего... Больше нет у него ничего.
Черный нищий, поющий во имя его,
от обид обалдевшего раба твоего.

Царь, а царь, хочешь, будем вдвоем рисковать:
ты башкой рисковать, я тебя рисовать?
Вместе будем с тобою озоровать:
Бога — побоку, бабу — под бок, на кровать?!

Царь, а царь, когда ты устанешь из золота есть,
вели себе чашек моих принести,
где желтый бык — отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий, поющий последний стих,
две красотки зеленых, пять рыб голубых...

3. Раб

Один шажок
и другой шажок,
а солнышко село...
О господин,
вот тебе стожок
и другой стожок
доброго сена!
И все стога
(ты у нас один)
и колода меда...
Пируй, господин,
до нового года!
Я амбар — тебе,
а пожар — себе...
Я рвань,
я дрянь,
меня жалеть опасно.
А ты живи праздно:
сам ешь, не давай никому...
Пусть тебе — прекрасно,
госпоже — прекрасно,
холуям — прекрасно,
а плохо пусть —
топору твоему!

* * *

Человек стремится в простоту,
как небесный камень — в пустоту,
медленно сгорает
и за предпоследнюю черту
нехотя взирает,
но во глубине его очей,
будто бы во глубине ночей,
что-то назревает.

Время изменяет его внешность.
Время усмиряет его нежность,
словно пламя спички на мосту,
гасит красоту.

Человек стремится в простоту
через высоту.
Главные его учителя —
Небо и Земля.

Эта комната

К. Г. Паустовскому

Люблю я эту комнату,
где розовеет вереск
в зеленом кувшине.
Люблю я эту комнату,
где проживает ересь
с богами наравне.

Где в этом, только в этом
находят смысл
и ветром
смывают гарь и хлам,
где остро пахнет веком
четырнадцатым
с веком
двадцатым пополам.

Люблю я эту комнату
без драм и без расчета...
И так за годом год
люблю я эту комнату,
что, значит, в этом что-то,
наверно, есть, но что-то —
и в том, чему черед.

Где дни, как карты, смешивая —
грядущий и начальный,
что жив и что угас, —
я вижу, как насмешливо,
а может быть, печально
глядит она на нас.

Люблю я эту комнату,
где даже давний берег
так близок — не забыть...
Где нужно мало денег,
чтобы счастливым быть.

Оле

Ты — мальчик мой, мой белый свет,
оруженосец мой примерный.
В круговороте дней и лет
какие ждут нас перемены?

Какие примут нас века?
Какие смехом нас проводят?...
Живем как будто в половодье...
Как хочется наверняка!

Тиль Уленшпигель

Красный петух. Октябрь золотой. Тополь серебряный.
Разве есть что на свете их перьев, и листьев, и пуха
целібнее?

Нужно к ранам (вот именно) к свежим (естественно)
их приложить...

Если свежие раны, конечно, вы успели уже заслужить.

Это пестрое, шумное, страстное нужно с рассвета и
затемно

собирать, и копить, и ценить, и хранить обязательно,
чтобы к ранам (вот именно) к свежим (естественно)
их приложить...

если свежие раны, конечно, вы успели уже заслужить.

Как трудны эти три работенки: Надежда, Любовь и
Пристрастие.

Оттого-то, наверно, и нет на земле работенки
прекраснее.

Вот и самые свежие раны неустанно дымятся во мне...

Потому что всегда и повсюду только свежие раны
в цене.

Счастливчик Пушкин

Александр Сергеечу хорошо!
Ему прекрасно!
Гудит мельничное колесо,
боль угасла,

баба щурится из избы,
в небе — жаворонки,
только десять минут езды
до ближней ярмарки.

У него ремесло первый сорт
и перо остро.
Он губаст и учен как черт,
и все ему просто:

жил в Одессе, бывал в Крыму,
ездил в карете,
деньги в долг давали ему
до самой смерти.

Очень вежливы и тихи,
делами замученные,
жандармы его стихи
на память заучивали!

Даже царь приглашал его в дом,
желая при этом
потрепаться о том о сем
с таким поэтом.

Он красивых женщин любил
любовью не чинной,
и даже убит он был
красивым мужчиной.

Он умел бумагу мариать
под треск свечки!
Ему было за что умирать
у Черной речки.

Житель Хевсуретии и белый корабль

Агафон Ардезиани, где ж твоя чоха?
Пьешь кефир в кафе, и кофе пьешь, и вновь — работа...
А затея на бумаге, как строка стиха,
так строга и так тиха под каплями пота.

Ты корабль рисуешь белый, грубый человек!
Ты проводишь кистью белой по бумаге белой.
Час проходит, как мгновенье, два мгновенья — век,
каждый взмах руки и кисти стоит жизни целой.

Горец бредит кораблями: руки — в якорях.
Тянет тиною от пашен, песен и подушек.
Ходит в булочниках лекарь, пекарь — в токарях.
Сто дорог с собою кличут — одна из них душит.

Белый-белый, как береза, борт у корабля.
Белый, как перо у чайки. Он воды коснется...
Чей-то сын веселый утром встанет у руля:
«Ты прощай, земля!..» — и рыба под водой проснется.

Сядет твой отец убитый в тот корабль живой.
Капитан команду вскрикнет. И на утре раннем
побегут барашки белые над самой головой
вслед надеждам, вслед тревогам, вслед воспоминаньям.

* * *

Мой город засыпает. А мне-то что с того?
Я был его ребенком, я нянькой был его,
я был его рабочим, его солдатом был...
Он слишком удивленно всегда меня любил.
Он слишком отчужденно мне руку подавал,
по будням меня помнил, а в праздник забывал.

И если я погибну, и если я умру,
проснется ли мой город с печалью поутру?
Пошлет ли на кладбище перед заходом дня
своих счастливых женщин оплакивать меня?

...Но с каждым днем все чище, все злей его люблю
и из своей любви богов своих леплю.
Мне ничего не надо, и сожалений нет:
со мной моя гитара и пачка сигарет.

* * *

Б. Слуцкому

Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.

Март великодушный

У отворённых у ворот лесных,
откуда пахнет сыростью, где звуки
стекают по стволам, стоит лесник,
и у него — мои глаза и руки.

А лесу платья старые тесны.
Лесник качается на качкой кочке
и все старается не прозевать весны
и первенца принять у первой почки.

Он наклоняется — помочь готов,
он вслушивается, лесник тревожный,
как надывается среди стволов
какой-то стебелек неосторожный.

Давайте же не будем обижать
сосновых бабок и еловых внучек,
пока они друг друга учат,
как под открытым небом март рожать!

Все снова выстроить — нелегкий срок,
как зиму выстоять, хоть и знакома...
И почве выстрелить свой стебелек,
как рамы выставить хозяйке дома...

...Лес не кончается. И под его рукой
лесник качается, как лист послушный...
Зачем отчаиваться, мой дорогой?
Март намечается великодушный!

* * *

М. Хуциеву

Мы приедем туда, приедем,
проедем — зови не зови —
вот по этим каменистым, по этим
осыпающимся дорогам любви.

Там мальчики гуляют, фасоня,
по августу, плавают в нем,
и пахнет песнями и фасолью,
красной солью и красным вином.

Перед чинарою голубою
поет Тинатин в окне,
и моя юность с моею любовью
перемешиваются во мне.

...Худосочные дети с Арбата,
вот мы едем, представь себе,
а арба под нами горбата,
и трава у вола на губе.

Мимо нас мелькают автобусы,
перегаром в лица дыша...
Мы наездились, мы не торопимся.
Мы хотим хоть раз не спеша.

После стольких лет перед бездною,
раскачавшись, как на волнах,
вдруг предстанет, как неизбежное,
путешествие на волах.

И по синим горам, пусть не плавное,
будет длиться через мир и войну
путешествие наше самое главное
в ту неведомую страну.

И потом без лишнего слова,
дней последних не торопя,
мы откроем нашу родину снова,
но уже для самих себя.

* * *

Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем,
у каждой эпохи свои подрастают леса...
А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем
поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа.

Теперь нам не надо по улицам мыкаться ошупью.
Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль...
А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков,
хотя б одного, и не будет отныне... А жаль.

Я кланяюсь низко познания морю безбрежному,
разумный свой век, многоопытный век свой любя...
А все-таки жаль, что кумиры нам сняты по-прежнему
и мы до сих пор всё холопами числим себя.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали,
мы всё обрели: и надежную пристань, и свет...
А все-таки жаль — иногда над победами нашими
встают пьедесталы, которые выше побед.

Москва, ты не веришь слезам — это время проверило.
Железное мужество, сила и стойкость во всем...
Но если бы ты в наши слезы однажды поверила,
ни нам, ни тебе не пришлось бы грустить о былом.

Былое нельзя воротить... Выхожу я на улицу.
И вдруг замечаю: у самых Арбатских ворот
извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается...
Ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдет.

Последний мангал

*Тамазу Чиладзе,
Джансугу Чарквиани*

Когда под хохот Куры и сплетни,
в холодной выпачканный золе,
вдруг закричал мангал последний,
что он последний на всей земле,
мы все тогда над Курой сидели
и мясо сдабривали вином,
и два поэта в обнимку пели
о трудном счастье, о жестяном.

А тот мангал, словно пес — на запах
орехов, зелени, бастурмы,
качаясь, шел на железных лапах
к столу, за которым сидели мы.

И я клянусь вам, что я увидел,
как он в усердьи своем простом,
как пес, которого мир обидел,
присел и вильнул жестяным хвостом.

Пропахший зеленью, как духами,
и шашлыками еще лютей,
он, словно свергнутый бог, в духане
с надеждой слушал слова людей...

...Поэты плакали. Я смеялся.
Стакан покачивался в руке.
И современно шипело мясо
на электрическом очаге.

Красные цветы

Ю. Домбровскому

Срываю красные цветы.
Они стоят на красных ножках.
Они звенят, как сабли в ножнах,
и пропадают, как следы...

О эти красные цветы!
Я от земли их отрываю.
Они как красные трамваи
среди полдневной суеты.

Тесны их задние площадки —
там две пчелы, как две пилы,
жужжат, добры и беспощадны,
забившись в темные углы.

Две женщины на тонких лапках.
У них кошелки в свежих латках,
но взгляды слишком старомодны,
и жесты слишком благородны,
и помыслы их так чисты!..

О эти красные цветы!
Их стебель почему-то колет.
Они, как красные быки, идут толпою к водопою,
у каждого над головою рога сомкнулись, как венки...

Они прекрасны, как полки,
остры их красные штыки,
портянки выстираны к бою.

У командира в кулаке — цветок на красном стебельке...
Он машет им перед собою.
Качается цветок в руке, как память о живом быке,
как память о самом цветке,
как памятник поре походной,
как монумент пчеле безродной,
той благородной,
старомодной,
летать привыкшей налегке...

Срываю красные цветы.
Они еще покуда живы.
Движения мои учтивы,
решения неторопливы,
и помыслы мои чисты...

Оловянный солдатик моего сына

Игорю

Земля гудит под соловьями,
под майским нежится дождем,
а вот солдатик оловянный
на вечный подвиг осужден.

Его, наверно, грустный мастер
пустил по свету невзлюбя.
Спроси солдатика: «Ты счастлив?»
И он прицелится в тебя.

И в смене праздников и буден,
в нестройном шествии веков
смеются люди, плачут люди,
а он всё ждет своих врагов.

Он ждет упрямо и пристрастно,
когда накинется трубя...
Спроси его: «Тебе не страшно?»
И он прицелится в тебя.

Живет солдатик оловянный
предвестником больших разлук
и автоматик окаянный
боится выпустить из рук.

Живет защитник мой, невольно
сигнал к сраженью торопя.
Спроси его: «Тебе не больно?»
И он прицелится в тебя.

Дорожная фантазия

Таксомоторная кибитка,
трясущаяся от избытка
былых ранений и заслуг,
по сопкам ткет за кругом круг.

Миную я глухие реки,
и на каком-то там ночлеге
мне чудится (хотя и слаб)
переселенческой телеги
скрип, и коней усталых храп,
и мягкий стук тигриных лап,
напрягшихся в лихом набеге,
и крик степи о человеке,
и вдруг на океанском берегу —
краб, распластавшийся как раб...

С фантазиями нету сладу:
я вижу, как в чужом раю,
перемахнув через ограду,
отыскивая дичь свою,
под носом у слепой двустволки
ободранные бродят волки...
Я их сквозь полночь узнаю.

А сторож-то! Со сторожихой
с семидесятилетней, тихой!
Они под жар печной — бока,
пока созревшей облепихой

дурманит их издалека,
пока им дышится, пока
им любопытны сны и толки,
пока еще слышны им волки,
и августа мягка рука,
пока кленовый лист узорный
им выпадает на двоих...

Вот так я представляю их,
случайный Бог таксомоторный,
невыспавшийся, тощий, черный,
с дорожных облаков своих.

Замок надежды

Я строил замок надежды. Строил-строил.
Глину месил. Холодные камни носил.
Помощи не просил. Мир так устроен:
была бы надежда — пусть не хватает сил.

А время шло. Времена года сменялись.
Лето жарило камни. Мороз их жег.
Прилетали белые сороки — смеялись.
Мне было тогда наплевать на белых сорок.

Лепил я птицу. С красным пером. Лесную.
Безымянную птицу, которую так люблю.
«Жизнь коротка. Не успеешь, дурак...» Рискую.
Женщина уходит, посмеиваясь. Леплю.

Коронованный всеми празднествами, всеми боями,
строю-строю. Задубела моя броня...
Все лесные свирели, все дудочки, все баяны,
плачьте, плачьте, плачьте вместо меня.

Последний Пират

В районной пивной, на сквозном ветерке,
гуляет Последний Пират.

С малиновым камнем в старинной серьге
идет он в последний парад.

Десятая кружка, добра как вдова,
плывет, подбоченясь, к нему,
и вобла срывает с себя кружева,
готова уже ко всему.

И пена пивная дрожит на столах,
и брызги слетают с руки,
и красные рыбки в зеленых глазах
свои совершают круги.

Все денежки пропиты. Руки на стол!
Я сам из последних плачу
и сам поминаю соленый простор
и как ординарец шучу,
что прокляли б мы наш исхоженный шар
и сами бы сдохли с тоски,
когда б не малиновый этот пожар
серебряной этой серьги,
когда б не улыбки буфетных ворон,
не пенье фабричной трубы,
когда б не качался под нами перрон,
как палуба нашей судьбы.

Старый флейтист

Идут дожди, и лето тает,
как будто не было его.
В пустом саду флейтист играет,
а больше нету никого.
Он одинок, как ветка в поле,
косым омытая дождем.
Давно ли, долго ли, легко ли —
никто не спросит ни о чем.

Ах, флейтист, флейтист в старом пиджаке,
с флейтою послушною в руке,
вот уж день прошел, так и жизнь пройдет,
словно лист осенний опадет.

Все ниже, глуше свод небесный,
звук флейты слышится едва.
«Прости-прощай» — мотив той песни,
«Я все прощу» — ее слова.
Знать, надо вымокнуть до нитки,
знать, надо горюшка хлебнуть,
чтоб к заколоченной калитке
с надеждой руки протянуть.

Ах, флейтист, флейтист в старом пиджаке,
с флейтою послушною в руке,
вот уж год прошел, так и век пройдет,
словно лист осенний опадет.

В городском саду

Круглы у радости глаза и велики у страха,
и пять морщинок на челе от празднеств и обид...
Но вышел тихий дирижер, но заиграли Баха,
и все затихло, улеглось и обрело свой вид.

Все стало на свои места, едва сыграли Баха...
Когда бы не было надежд — на черта белый свет?
К чему вино, кино, пшено, квитанции Госстраха
и вам — ботинки первый сорт, которым сносу нет?

«Не все ль равно: какой земли касаются подошвы?
Не все ль равно: какой улов из волн несет рыбак?
Не все ль равно: вернешься цел или в бою падешь ты
и руку кто подаст в беде — товарищ или враг?»

О, чтобы было все не так, чтоб все иначе было,
наверно, именно затем, наверно, потому
играет будничным оркестр привычно и вполсилы,
а мы так трудно и легко всё тянемся к нему.

Ах, музыкант мой, музыкант, играешь, да не знаешь,
что нет печальных и больных и виноватых нет,
когда в прокуренных руках так просто ты сжимаешь,
ах, музыкант мой, музыкант, черешневый кларнет!

Молитва

Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет:
мудрому дай голову, трусливому дай коня,
дай счастливому денег... И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится — Господи, твоя власть! —
дай рвущемуся к власти навластвовать всласть,
дай передышку щедрому, хоть до исхода дня.
Каину дай раскаянье... И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь, я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый, что он проживает в раю,
как верит каждое ухо тихим речам твоим,
как веруем и мы сами, не ведая, что творим!

Господи мой Боже, зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится, и это ей странно самой,
пока ей еще хватает времени и огня,
дай же ты всем понемногу... И не забудь про меня.

* * *

Вот странный инструмент для созиданья строчек,
которых в первый миг никто понять не хочет.
Вот странный инструмент: два уха, два зрачка,
изгиб надменных губ и шепоток сверчка.

Под ним внизу — сама конструкции основа —
в ней действует душа, разогревая слово.
Меж ними — коридор, на нем, его деля, —
то крестик, то кадык, то галстук, то петля.

Фотографии друзей

Деньги тратятся и рвутся,
забываются слова,
приминается трава,
только лица остаются
и знакомые глаза...
Плачут ли они, смеются —
не слышны их голоса.

Льются с этих фотографий
океаны биографий,
жизнь в которых вся, до дна,
с нашей переплетена.

И не муки и не слезы
остаются на виду,
и не зависть и беду
выражают эти позы,
не случайный интерес
и не сожаленья снова...

Свет — и ничего другого,
век — и никаких чудес.
Мы живых их обнимаем,
любим их и пьем за них...

...только жаль, что понимаем
с опозданием на миг!

* * *

То падая, то снова нарастая,
как маленький кораблик на волне,
густую грусть шарманка городская
из глубины двора дарила мне.

И вот, уже от слез на волосок,
я слышал вдруг, как раздавался четкий
свихнувшейся какой-то нотки
веселый и счастливый голосок.

Пускай охватывает нас смятением
несоответствие мехов тугих,
но перед наводнением смертельным
все хочет жить. И нету правд других.

Все ухищрения и все уловки
не дали ничего взамен любви...
...Сто раз я нажимал курок винтовки,
а вылетали только соловьи.

Разговор с рекой Курой

Я тщательно считал друзей своих убитых.
— Зачем? Зачем? — кричала мне река
издалека. — И так во все века
мы слишком долго помним об обидах!..

А я считал... И не гасил огня...
И плакала Кура перед восходом.
А я считал... сравнил приход с расходом.
И не сошлось с ответом у меня.

* * *

Мгновенно слово. Короток век.
Где ж умещается человек?
Как, и когда, и в какой глуши
распускаются розы его души?
Как умудряется он успеть
свое промолчать и свое пропеть,
по планете просеменить,
гнев на милость переменить?
Как умудряется он, чудак,
на ярмарке поцелуев и драк,
в славословии и пальбе
выбрать только любовь себе?

Осколок выплеснет его кровь:
«Вот тебе за твою любовь!»
Пощечины перепадут в рай:
«Вот тебе за любовь твою!»

И все ж умудряется он, чудак,
на ярмарке поцелуев и драк,
в славословии и гульбе
выбрать только любовь себе!

Как научиться рисовать

Если ты хочешь стать живописцем,
то рисовать не спеши.
Разные кисти из шерсти барсучьей
перед собой разложи,
белую краску возьми, потому что
это — начало, потом
желтую краску возьми, потому что
все созревает, потом
серую краску возьми, чтобы осень
в небо плеснула свинец,
черную краску возьми, потому что
есть у начала конец,
краски лиловой возьми пощедрее,
смейся и плачь, а потом
синюю краску возьми, чтобы вечер
птицей слетел на ладонь,
красную краску возьми, чтобы пламя
затрепетало, потом
краски зеленой возьми, чтобы веток
в красный подбросить огонь.
Перемешай эти краски, как страсти,
в сердце своем, а потом
перемешай эти краски и сердце
с небом, с землей, а потом...
Главное — это сгорать и, сгорая,
не сокрушаться о том.
Может быть, кто и осудит сначала,
но не забудет потом!

Проводы юнкеров

Наша жизнь не игра.
Собираться пора.
Кант малинов, и лошади серы.
Господа юнкера,
кем вы были вчера?
А сегодня вы все — офицеры.

Господа юнкера,
кем вы были вчера
без лихой офицерской осанки?
Можно вспомнить опять
(ах, зачем вспоминать?),
как ходили гулять по Фонтанке.

Над гранитной Невой
гром стоит полковой,
да прощанье недорого стоит.
На германской войне
только пушки в цене,
а невесту другой успокоит.

Наша жизнь не игра.
В штыковую! Ура!..
Замерзают окопы пустые.
Господа юнкера,
кем вы были вчера?
Да и нынче вы все — холостые.

Песенка о художнике Пиросмани

Николаю Грицюку

Что происходит с нами,
когда мы смотрим сны?
Художник Пиросмани
выходит из стены,

из рамок примитивных,
из всякой суеты
и продает картины
за порцию еды.

Худы его колени,
и насторожен взгляд,
но сытые олени
с картин его глядят,

красотка Маргарита
в траве густой лежит,
а грудь ее открыта —
там родинка дрожит.

И вся земля ликует,
пирует и поет,
и он ее рисует
и Маргариту ждет.

Он жизнь любил не скупю,
как видно по всему...
Но не хватило супа
на всей земле ему.



* * *

Ярославу Смелякову

В детстве мне встретился как-то кузнечик
в дебрях колечек трав и осок.
Прямо с колючек, словно с крылечек,
спрыгивал он, как танцор, на песок,
передо мною маячил мгновенье
и исчезал иноходцем в траве...
Может быть, первое стихотворенье
зрело в зеленой его голове.
— Намереваюсь! — кричал тот кузнечик.
— Может ли быть? — усмеялся сверчок.
Из-за досок, из щелей, из-за печек
крался насмешливый этот басок.
Но из-за речек, с лугов отдаленных:
— Намереваюсь! — как песня, как гром...
Я их встречал, голубых и зеленых.
Печка и луг им служили жильем.
Печка и Луг — разделенный на части
счастья житейского замкнутый круг,
к чести его обитателей частых,
честных, не праздных, как Печка и Луг,
маленьких рук постоянно стремленье,
маленьких мук постоянна волна...
Пламени этого столпотворенье
не успокоят ни мир, ни война,
ни уговоры его не излечат,
ни приговоры друзей и врагов...
— Может ли быть?! — как всегда из-за печек.
— Намереваюсь! — грохочет с лугов.

Годы прошли, да похвастаться нечем.
Те же дожди, те же зимы и зной.
Прожита жизнь, но все тот же кузнечик
пляшет и кружится передо мной.
Гордый бессмертьем своим непреклонным,
мировоззреньем своим просветленным,
скачет, куражится, ест за двоих...
Но не молчит и сверчок тот бессонный.
Все усмехается.
Что мы — для них?

Ленинградская элегия

Я видел удивительную, красную, огромную луну, подобную предпраздничному первому помятому блину, а может быть, ночному комару, что в свой черед легко взлетел в простор с лесных болот.

Она над Ленинградом очень медленно плыла.
Так корабли плывут без капитанов медленно...
Но что-то бледное мне виделось сквозь медное покрытие ее высокого чела.

Под ней покоилось в ночи пространство невское, и слышалась лишь переключка площадей пустых...
И что-то женское мне чудилось сквозь резкое слияние ее бровей густых.

Как будто гаснувший фонарь, она качалась в бездне
туда-сюда над Петропавловкой скользя...
Но в том ее огне казались мне мои друзья
еще надежней и еще красивей.

Я вслушиваюсь: это их каблуки отчетливо стучат...
И словно невская волна, на миг взметнулось эхо,
когда друзьям я прокричал, что на прощание кричат.
Как будто сам себе я прокричал все это.

Прощание с осенью

Осенний холодок. Пирог с грибами.
Калитки шорох и простывший чай.
И снова
неподвижными губами
короткое, как вздох: «Прощай, прощай...»

«Прощай, прощай...»
Да я и так прощаю
все, что простить возможно, обещаю
и то простить, чего нельзя простить.
Великодушным мне нельзя не быть.

Прощаю всех, что не были убиты
тогда, перед лицом грехов своих.
«Прощай, прощай...»
Прощаю все обиды,
обеды у обидчиков моих.

«Прощай...»
Прощаю, чтоб не вышло боком.
Сосуд добра до дна не исчерпать.
Я чувствую себя последним богом,
единственным умеющим прощать.

«Прощай, прощай...»
Старания упрямы
(знать, мне лишь не простится одному),
но горести моей прекрасной мамы
прощаю я неведомо кому.

«Прощай, прощай...» Прощаю, не смущаю
угрозами, надежно их таю.
С улыбкою, размашисто прощаю,
как пироги, прощенья раздаю.

Прощаю побелевшими губами,
пока не повторится все опять:
осенний горький чай, пирог с грибами
и поздний час — прощаться и прощать.

Времена

Нынче матери все
словно заново всех
своих милых детей полюбили.
Раньше тоже любили,
но больше их хлебом корили,
сильнее лупили.

Нынче, как сухари,
и любовь, и восторг,
и тревогу, и преданность копят...
То ли это инстинкт,
то ли слабость души,
то ли сам исторический опыт?

Или в воздухе нашем само по себе
разливается что-то такое,
что прибавило им суетливой любви
и лишило отныне покоя?

Или ждать отказавшись, теперь за собой
оставляют последнее слово
и неистово жаждут прощать, возносить
и творить чудеса за кого-то другого?

Что бы ни было там,
как бы ни было там
и чему бы нас жизнь ни учила,
в нашем мире цена на любовь да на ласку
опять высоко подскочила.

И когда худосочные их сыновья
лгут, преследуют кошек,
наводняют базары,
матерям-то не каины видятся — авели,
не дедалы — икары!

И мерещится им
сквозь сумбур сумасбродств
дочерей современных,
сквозь гнев и капризы
то печаль Пенелопы,
то рука Жанны д'Арк,
то задумчивый лик Моны Лизы.

И слезами полны их глаза,
и высоко прекрасные вскинуты брови.
Так что я и представить себе не могу
ничего,
кроме этой любви!

Одна морковь с заброшенного огорода

Мы сидим, пехотные ребята.
Позади — разрушенная хата.
Медленно война уходит вспять.
Старшина нам разрешает спать.

И тогда (откуда — неизвестно,
или голод мой тому виной),
словно одинокая невеста,
выросла она передо мной.

Я киваю головой соседям:
на сто ртов одна морковь — пустяк...
Спим мы или бредим?
Спим иль бредим?
Веточки ли в пламени хрустят?

...Кровь густая капает из свеклы,
лук срывает бранный свой наряд,
десять пальцев, словно десять свекров,
над одной морковинкой стоят...

Впрочем, ничего мы не варили,
свекла не алела, лук не пах.
Мы морковь по-братски разделили,
и она хрустела на зубах.

Шла война, и кровь текла рекою.
В грозной битве рота погибла.
О природа, ты ж одной морковью
словно мать насытить нас могла!

И наверно, уцелела б рота,
если б в тот последний грозный час
ты одной любовью, о природа,
словно мать насытила бы нас!

Из окна вагона

Низкорослый лесок по пути в Бузулук,
весь похожий на пыльную армию леших —
пеших, песни лихие допевших,
сбивших ноги, продрогших, по суткам не евших,
и застывших, как будто в преддверье разлук.

Их седой командир, весь в коросте и рвани,
пишет письма домой на глухом барабане,
позабыв все слова, он марает листы.
Истрепались знамена, карманы пусты,
ординарец безумен, денщик безобразен...
Как пейзаж поражения однообразен!

Или это мелькнул за окном балаган,
где бушует уездных страстей ураган,
где играют безвестные комедианты,
за гроши продавая судьбу и таланты,
сами судьи и сами себе музыканты...

Их седой режиссер, обалдевший от брани,
пишет пьеску на порванном вдрызг барабане,
позабыв все слова, он марает листы,
декорации смяты, карманы пусты,
Гамлет глух, и Ромео давно безобразен...
Как сюжет нашей памяти однообразен!

Зной

Питер парится. Пора парочкам пускаться в поиск
по проспектам полуночным за прохладой. Может быть,
им пора поторопиться в петергофский первый поезд,
пекло потное покинуть, на перроне позабыть.

Петухи проголосили, песни поздние погасли.
Прямо перед паровозом проплывают и парят
Павловска перрон пустынный, Петергофа плен
прекрасный,
плеть Петра, причуды Павла, Пушкина пресветлый
взгляд.

Осень в Царском Селе

Какая царская нынче осень в Царском Селе!
Какие красные листья тянутся к черной земле,
какое синее небо и золотая трава,
какие высокопарные хочется крикнуть слова.

Но вот опускается вечер,
и слышится ветер с полей,
и филин рыдает, как Вертер,
над серенькой мышкой своей.

Уже он не первую губит,
не первые вопли слышны.
Он плоть их невинную любит,
а души ему не нужны.

И все же какая царская осень в Царском Селе!
Как прижимаются листья лбами к прохладной земле,
какое белое небо и голубая трава,
какие высокопарные хочется крикнуть слова!

Песенка про маляров

Уважайте маляров,
как ткачей и докторов!
Нет, не тех, что по ограде
раз мазнул и — будь здоров.
Тех, что ради солнца, ради
красок из глубин дворов
в мир выходят на заре:
сами в будничном наряде,
кисти — в чистом серебре.

Маляры всегда честны.
Только им слегка тесны
человечьей жизни сроки,
как недолгий свет весны.
И когда ложатся спать,
спят тела, не спится душам:
этим душам вездесущим
красить хочется опять.

Бредят кистями ладони,
краски бодрствуют, спешат.
Кисти, как ночные кони,
по траве сырой шуршат...
Синяя по стенам влага,
бурый оползень оврага,
пятна на боках коров —
это шутки маляров.

Или вот вязанка дров,
пестрая, как наважденье,
всех цветов нагроможденье:
дуба серая кора,
золотое тело липы,
красный сук сосны, облитый
липким слоем серебра...
Или вот огонь костра...
Или первый свет утра...

Маляры всегда честны.
Только им слегка тесны
сроки жизни человеческой,
как недолгий бег весны.
И когда у них в пути
обрывается работа,
остается впереди
недокрашенное что-то,
как неспетое — в груди...

Уважайте маляров —
звонких красок мастеров!
Лейтесь, краски,
пойте, кисти,
крась, маляр,
и будь здоров!

Прощание с Польшей

Мы связаны, поляки, давно одной судьбою
в прощанье, и в прощенье, и в смехе, и в слезах.
Когда трубач над Краковом возносится с трубою,
хватаясь я за саблю с надеждою в глазах.

Потертые костюмы сидят на нас прилично,
и плачут наши сестры, как Ярославны, вслед,
когда под крик гармоник уходим мы привычно
сражаться за свободу в свои семнадцать лет.

Прошу у вас прощенья за раннее прощанье,
за долгое молчанье, за поздние слова;
нам Время подарило пустые обещанья,
от них у нас, Агнешка, кружится голова.

Над Краковом убитый трубач трубит бессменно,
любовь его безмерна, сигнал тревоги чист.
Мы школьники, Агнешка. И скоро перемена.
И чья-то радиола наигрывает твист.

Быть может, все это так и будет. Я точно знать
не могу.
Но лучше пусть это будет в море, чем на берегу.
И лучше пусть судят меня матросы от берегов вдали,
чем презирающие море обитатели твердой земли...

До свидания, Павел Григорьевич! Нам сдаваться
нельзя.
Все враги после нашей смерти запишутся к нам
в друзья.
Но перед бурей всегда надежней в будущее глядеть...
Самые чистые рубахи велит капитан надеть!

* * *

А. Тарковскому

Друзья, не надейтесь на чудо,
не верьте в заморский Сезам.
Нам плакать и плакать, покуда
Москва не поверит слезам.

Цирк

Ю. Никулину

Цирк — не парк, куда вы входите грустить и отдыхать.
В цирке надо не высидивать, а падать и взлетать,
и под куполом, под куполом, под куполом скользят,
ни о чем таком сомнительном раздумывать нельзя.

Все костюмы наши праздничные — смех и суета.
Все улыбки наши пряничные не стоят ни черта
перед красными султанами на конских головах,
перед лицами, таящими надежду, а не страх.

О Надежда, ты крылатое такое существо!
Как прекрасно твое древнее святое вещество:
даже если вдруг потеряна (как будто не была),
как прекрасно ты распаиваешь два своих крыла

над манежем и над ярмаркою праздничных одежд,
над тревогой завсегдаев, над ужасом невежд,
похороненная заживо, являешься опять
тем, кто жаждет не высидивать, а падать и взлетать.

* * *

Ю. Домбровскому

Разве лев — царь зверей? Человек — царь зверей.
Вот он выйдет с утра из квартиры своей,
он посмотрит кругом, улыбнется...
Целый мир перед ним содрогнется.

* * *

Решайте, решайте, решайте
за Марью, за Дарью, за всех.
И в череп свой круглый вмещайте
их слезы, позор и успех.
Конечно, за голову эту
при жизни гроша не дадут...
Когда же по белому свету
вас в черных цепях поведут,
сначала толпа соберется,
потом как волна опадет...
И Марья от вас отвернется,
и Дарья плечами пожмет.
...И все же решайте, решайте...

* * *

Надежда, белою рукою
сыграй мне что-нибудь такое,
чтоб краска схлынула с лица,
как будто кони от крыльца.

Сыграй мне что-нибудь такое,
чтоб ни печали, ни покоя,
ни нот, ни клавиш и ни рук...
О том, что я несчастен, врут.

Еще нам плакать и смеяться,
но не смиряться, не смиряться.
Еще не пройден тот подъем.
Еще друг друга мы найдем...

Все эти улицы — как сестры.
Твоя игра — их говор пестрый,
их каблуков полночный стук...
Я жаден до всего вокруг.

Ты так играешь, так играешь,
как будто медленно сгораешь.
Но что-то есть в твоём огне,
еще неведомое мне.

Встреча

Кайсыну Кулиеву

Насмешливый, тщедушный и неловкий,
единственный на этот шар земной,
на Усачевке, возле остановки,
вдруг Лермонтов возник передо мной,
и в полночи рассеянной и зыбкой
(как будто я о том его спросил)
— Мартынов — что... —
он мне сказал с улыбкой. —
Он невиновен.
Я его простил.
Что — царь? Бог с ним. Он дожил до могилы.
Что — раб? Бог с ним. Не воин он один.
Царь и холоп — две крайности, мой милый.
Нет ничего опасней середин...
Над мрамором, венками перевитым,
убийцы стали ангелами вновь.
Удобней им считать меня убитым:
венки всегда дешевле, чем любовь.
Как дети, мы все забываем быстро,
обидчикам не помним мы обид,
и ты не верь, не верь в мое убийство:
другой поручик был тогда убит.
Что — пистолет?.. Страшна рука дрожащая,
тот пистолет растерянно держащая,
особенно тогда она страшна,
когда сто раз пред тем была нежна...
Но, слава Богу, жизнь не оскудела,
мой Демон продолжает тосковать,

и есть еще на свете много дела,
и нам с тобой нельзя не рисковать.
Но, слава Богу, снова паутинки,
и бабье лето тянется на юг,
и маленькие грустные грузинки
полжизни за улыбки отдают,
и суждены нам новые порывы,
они скликают нас наперебой...

Мой дорогой, пока с тобой мы живы,
все будет хорошо у нас с тобой...

Грибоедов в Цинандали

Цинандальского парка осенняя дрожь.
Непредвиденный дождь. Затяжной.
В этот парк я с недавнего времени вхож —
мы почти породнились с княжной.

Петухи в Цинандали кричат до зари:
то ли празднуют, то ли грустят...
Острословов очкастых не любят цари —
Бог простит, а они не простят.

Петухи в Цинандали пророчат восход,
и под этот заманчивый крик
Грибоедов, как после венчанья, идет
по Аллее Любви напрямик,

словно вовсе и не было дикой толпы
и ему еще можно пожить,
словно и не его под скрипенье арбы
на Мтацминду везли хоронить;

словно женщина эта — еще не вдова
и как будто бы ей ни к чему
на гранитном надгробье проплакать слова
смерти, горю, любви и уму;

словно верит она в петушиный маневр,
как поэт торопливый — в строку...
Нет, княжна, я воспитан на лучший манер,
и солгать вам, княжна, не могу,

и прощения прошу за неловкость свою...
Но когда б вы представить могли,
как прекрасно — упасть, и погибнуть в бою,
и воскреснуть, поднявшись с земли!

И, срывая очки, как винтовку — с плеча,
и уже позабыв о себе,
прокричать про любовь навсегда, сгоряча
прямо в рожу орущей толпе!..

...Каждый куст в парке княжеском мнит о себе.
Но над Персией — гуще гроза.
И спешит Грибоедов навстречу судьбе,
близоруко прищунив глаза.

Душевный разговор с сыном

Мой сын, твой отец — лежебока и плут
из самых на этом веку.

Ему не знакомы ни молот, ни плуг,
я в этом поклясться могу.

Когда на земле бушевала война
и были убийства в цене,
он раной одной откупился сполна
от смерти на этой войне.

Когда погорельцы брели на восток
и участь была их горька,
он в теплом окопе пристроиться смог
на сытную должность стрелка.

Не словом трибуна, не тяжелой киркой
на благо родимой страны —
он все норовит заработать строкой
тебе и себе на штаны.

И все же, и все же не будь с ним суров
(не знаю и сам почему),
поздравь его с тем, что он жив и здоров,
хоть нет оправдания ему.

Он, может, и рад бы достойней прожить
(далече его занесло),
но можно рубаху и паспорт сменить,
да поздно менять ремесло.

* * *

Осень ранняя. Падают листья.
Осторожно ступайте в траву.
Каждый лист — это мордочка лисья...
Вот земля, на которой живу.

Лисы ссорятся, лисы тоскуют,
лисы празднуют, плачут, поют,
а когда они трубки раскурят,
значит — дождинки скоро польют.

По стволам пробегает горенье,
и стволы пропадают во рву.
Каждый ствол — это тело олене...
Вот земля, на которой живу.

Красный дуб с голубыми рогами
ждет соперника из тишины...
Осторожней: топор под ногами!
А дороги назад сожжены!

...Но в лесу, у соснового входа,
кто-то верит в него наяву...
Ничего не попишешь: природа!
Вот земля, на которой живу.

* * *

Мы едем на дачу к Володе,
как будто мы в кровном родстве.
Та дача в Абрамцеве вроде,
зарыта в опавшей листве.

Глядят имена музыкантов
с табличек на каждом углу,
и мы, словно хор дилетантов,
удачам возносим хвалу.

Под будничными облаками
сидим на осеннем пиру,
и грусть, что соседствует с нами,
все чаще теперь ко двору.

Минувшего голос несносный
врывается, горек, как яд...
Зачем же мы, братья и сестры,
съезжаемся в тот листопад?

Зачем из машин мы выходим?
Зачем за столом мы сидим?
И счетов как будто не сводим —
светло друг на друга глядим.

Мы — дачники, мы — простофили,
очкарики и фраера...
В каких нас давиленьях давили —
да, видно, настала пора.

Свинцом небеса налитые,
и пробил раскаянья час,
и все мы почти что святые,
но некому плакать о нас.

На даче сидим у Володи,
поближе к природе самой,
еще и не старые вроде,
а помнится... Боже ты мой!

* * *

Карандаш желает истину
знать. И больше ничего.
Только вечную и чистую,
как призвание его.

И не блатом, не лекарствами —
создан словно на века.
Он как джентльмен при галстуке,
как умелец у станка.

Он не жаждет строчки прибыльной,
задыхаясь на бегу —
только б у фортуны гибельной
ни на грош не быть в долгу.

И пока больной, расхристанный,
вижу райские места,
взгляд его, стальной и пристальный,
не оторван от листа.

И, пока недолго длящийся
жизни путь к концу лежит,
грифелек его дымящийся
за добычею бежит.

Подступает мгла могильная,
но... уже совмещены
зов судьбы, ладонь бессильная,
запах пота и вины.

Капли Датского короля

Вл. Мотылю

В раннем детстве верил я,
что от всех болезней
капель Датского короля
не найти полезней.
И с тех пор горит во мне
огонек той веры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Капли Датского короля
или королевы —
это крепче, чем вино,
слаще карамели
и сильнее клеветы,
страха и холеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Рев орудий, посвист пуль,
звон штыков и сабель
растворяются легко
в звоне этих капель,
солнце, май, Арбат, любовь —
выше нет карьеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Слава головы кружит,
власть сердца щекочет.
Грош цена тому, кто встать
над другим захочет.
Укрепляйте организм,
принимайте меры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Если правду прокричать
вам мешает кашель,
не забудьте отхлебнуть
этих чудных капель.
Перед вами пусть встанут
прошлого примеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Прощание с новогодней елкой

З. Крахмальниковой

Синяя крона, малиновый ствол,
звяканье шишек зеленых.
Где-то по комнатам ветер прошел:
там поздравляли влюбленных.
Где-то он старые струны задел —
тянется их перекличка...
Вот и январь накатил-налетел,
бешеный, как электричка.

Мы в пух и прах наряжали тебя,
мы тебе верно служили.
Громко в картонные трубы трубя,
словно на подвиг спешили.
Даже поверилось где-то на миг
(знать, в простодушие сердечном):
женщины той очарованный лик
слит с твоим празднеством вечным.

В миг расставания, в час платежа,
в день увяданья недели
чем это стала ты нехороша?
Что они все, одурели?!
И утонченные, как соловьи,
гордые, как гренадеры,
что же надежные руки свои
прячут твои кавалеры?

Нет бы собраться им — время узнать,
нет бы им всем — расстараться...
Но начинают колеса стучать:
как тяжело расставаться!
Но начинается вновь суета.
Время по-своему судит:
И в суете тебя сняли с креста,
и воскресенья не будет.

Ель моя, ель — уходящий олень,
зря ты, наверно, старалась:
женщины той осторожная тень
в хвое твоей затерялась!
Ель моя, ель, словно Спас на Крови,
твой силуэт отдаленный,
будто бы след удивленной любви,
вспыхнувшей, неуголенной.

Старинная студенческая песня

Ф. Светову

Поднявший меч на наш союз
достоин будет худшей кары,
и я за жизнь его тогда
не дам и ломаной гитары.
Как вождельно жаждет век
нащупать брешь у нас в цепочке...
Возьмемся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке.

Среди совсем чужих пиров
и слишком ненадежных истин,
не дожидаясь похвалы,
мы перья белые почистим.
Пока безумный наш султан
сулит дорогу нам к острогу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-Богу!

Когда ж придет дележки час,
не нас калач ржаной поманит,
и рай настанет не для нас,
зато Офелия помянет.
Пока не грянула пора
нам отправляться понемногу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-Богу.

* * *

Скрипят на новый лад все перья золотые.
Страшают рай и ад то зноем, то грозой.
Поэты молодые не ставят запятые,
но плачут, как и мы, горячею слезой.

Вот милое лицо искажено печалью.
Вот вскинута ладонь под кромку топора.
И этот скорбный жест все разгадать не чаю.
Понять бы уж пора, что каяться пора.

Соединив души отчаянье и трепет,
и трещинку в стене, и облачко тоски,
фантазия моя свое подобье слепит
и воспроизведет разбитое в куски:

ту трещинку в стене, ту фортку, что разбита,
тот первый сквознячок, что в ней проголосил...
Не катастрофа, нет, а так — гримасы быта.
Пора бы починить, да не хватает сил.

Мой дом стоит в лесу. Мой лес в окно глядится.
Окно выходит в лес. В лесу пока темно.
За лесом — божий мир: Россия, Заграница —
на перекрестке том, где быть им суждено.

Путешествие в памяти

Анатолию Рыбакову

Не помню зла, обид не помню, ни громких слов,
ни малых дел
и ни того, что я увидел, и ни того, что проглядел.
Я все забыл, как днище вышиб из бочки века своего.
Я выжил.
Я из пекла вышел.
Там не оставил ничего.

Теперь живу посередине между войной и тишиной,
грехи приписываю Богу, а доблести — лишь Ей одной.
Я не оставил там ни боли, ни пепла, ни следов сапог,
и только глаз мой карий-карий блуждает там, как
светлячок.

Но в озаренье этом странном, в сиянье вещем светляка
счастливые бывшие люди мне чудятся издалека:
высокий хор поет с улыбкой,
земля от выстрелов дрожит,
сержант Петров, поджав коленки,
как новорожденный лежит.

Грузинская песня

М. Квливидзе

Виноградную косточку в теплую землю зарюю,
и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
и друзей созову, на любовь свое сердце настрою...
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье,
говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву,
царь небесный пошлет мне прощение за прегрешенья...
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали,
в черно-белом своем преклоню перед нею главу,
и заслушаюсь я, и умру от любви и печали...
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

И когда заклубится закат, по углам залетая,
пусть опять и опять предо мною плывут наяву
белый буйвол, и синий орел, и форель золотая...
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Песенка о дальней дороге

Б. Золотухину

Забудешь первый праздник и позднюю утрату,
когда луны колеса затренькают по тракту,
и силуэт совиный склонится с облучка,
и прямо в душу грянет простой романс сверчка.

Пускай глядит с порога красотка, увядая,
та гордая, та злая, слепая и святая...
Что — прелесть ее ручек? Что — жар ее перин?
Давай, брат, отрешимся.
Давай, брат, воспарим.

Жена, как говорится, найдет себе другого.
Какого-никакого, как ты, недорогого.
А дальняя дорога дана тебе судьбой,
как матушкины слезы, всегда она с тобой.

Покуда ночка длится, покуда бричка катит,
дороги этой дальней на нас обоих хватит.
Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладешь?
Чего не потеряешь — того, брат, не найдешь.

От сосен свет целебный,
от неба запах хлебный,
а от любви бедной сыночек будет бледный,
а дальняя дорога...
а дальняя дорога...
а дальняя дорога...

* * *

П. Луспекаеву

Ваше благородие госпожа разлука,
мне с тобою холодно — вот какая штука.
Письмецо в конверте погоди — не рви...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа чужбина,
жарко обнимала ты, да мало любила.
В шелковые сети постой — не лови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа удача,
для кого ты добрая, а кому иначе.
Девять граммов в сердце постой — не зови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа победа,
значит, моя песенка до конца не спета!
Перестаньте, черти, клясться на крови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Путешествие по ночной Варшаве в дрожках

Варшава, я тебя люблю легко, печально и навеки.
Хоть в арсенале слов, наверно, слова есть тоньше
и верней,
но та, что с левой стороны, святая мышца в человеке
как бьется, как она тоскует!.. И ничего не сделать
с ней.

Трясутся дрожки. Ночь плывет. Отбушевал в Варшаве
полдень.
Она пропитана любовью и муками обожжена,
как веточка в Лазенках та, которую я нынче поднял,
как Зигмунта поклон неловкий, как пани странная
одна.

Забытый Богом и людьми, спит офицер
в конфедератке.
Над ним шумят леса чужие, чужая плещется река.
Пройдут недолгие века — напишут школьники
в тетрадке
про все, что нам не позволяет писать дрожащая рука.

Невыносимо, как в раю, добро просеивать сквозь
сито,
слова процеживать сквозь зубы, сквозь недоверие —
любовь...
Фортуну верткую свою воспитываю жить открыто,
надежду — не терять надежды, доверие — проснуться
вновь.

Извозчик, зажигай фонарь на старомодных крыльях
дрожек.

Неправда, будто бы он прожит, наш главный полдень
на земле!

Варшава, мальчишки твои прически модные ерошат,
но тянется одна сплошная раздумья складка на челе.

Трясутся дрожки. Ночь плывет. Я еду Краковским
Предместьем.

Я захожу во мрак кавярни, где пани странная поет,
где мак червонный вновь цветет уже иной любви
предвестьем...

Я еду Краковским Предместьем.

Трясутся дрожки.

Ночь плывет.

Белорусский вокзал

Здесь птицы не поют,
деревья не растут,
и только мы, плечом к плечу, вырастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
над нашей родиной дым,
и, значит, нам нужна одна победа,
одна на всех, мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
и все ж бессилен он.
Сомненья прочь. Уходит в ночь отдельный,
десятый наш, десантный батальон.

Едва огонь угас —
звучит другой приказ,
и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
бьет пулемет неумоим,
и, значит, нам нужна одна победа,
одна на всех, мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
и все ж бессилен он.
Сомненья прочь. Уходит в ночь отдельный,
десятый наш, десантный батальон.

От Курска и Орла
война нас довела
до самых вражеских ворот... Такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это
и не поверится самим,
а нынче нам нужна одна победа,
одна на всех, мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
и все ж бессилен он.
Сомненья прочь. Уходит в ночь отдельный,
десятый наш, десантный батальон.

* * *

Я вас обманывать не буду.
Мне вас обманывать нельзя:
обман и так лежит повсюду,
мы по нему идем, скользя.

Давно погашены улыбки,
вокруг болотная вода,
и в том — ни тайны, ни ошибки,
а просто горе да беда.

Когда-то в молодые годы,
когда все было невдомек,
какой-то призрачной свободы
достался мне шальной глоток.

Единственный. И без обмана
среди прочих ненадежных снов,
как сладкий яд, как с неба манна,
как дар судьбы без лишних слов.

Не в строгих правилах природы
ошибку повторять свою,
поэтому глоток свободы
я долго и счастливо пью.

* * *

Поэтов травили, ловили
на слове, им сети плели;
куражась, корнали им крылья,
бывало, и к стенке вели.

Наверное, от сотворенья,
от самой седой старины
они как козлы отпущенья
в скрижалях земных учтены.

В почете, и всё ж на учете,
и признанны, но до поры...
Вот вы рядом с ними живете,
а были вы с ними добры?

В трагическом их государстве
случалось и празднествам быть,
и все же бунтарство с мытарством
попробуй от них отделить.

Им разные тракты клубили,
но все ж в переделке любой
глядели они голубыми
за свой горизонт голубой.

И слова рожденного сладость
была им превыше, чем злость.
А празднества — это лишь слабость
минутная. Так повелось.

Я вовсе их не прославляю.
Я радуюсь, что они есть.
О, как им смешны, представляю,
посмертные тосты в их честь.

* * *

Немоты нахлебавшись без меры,
с городской отравой в крови,
опасаюсь фанатиков веры
и надежды, и поздней любви.

Как блистательны их карнавалы —
каждый крик, каждый взгляд, каждый жест...
Но зато как горьки и усталы
окончания пышных торжеств!

Я надеялся выйти на волю.
Как мы верили сказкам, скажи?
Но мою злополучную долю
утопили во зле и во лжи.

От тоски никуда не укрыться,
от природы ее грозовой.
Между мною и небом — граница.
На границе стоит часовой.

* * *

Виктору Забелышинскому

Долго гордая упряжка
через жизнь меня везла,
и счастливая ромашка
на пути моем росла.

Ехал я, еще не старый,
якоря свои рубя,
и какие-то гитары
предлагали мне себя.

Что-то бури предвещало,
бормотало все о том...
Время сказок не прощало —
это скажется потом.

Все потом: и сожаленье,
что не выпало посметь,
и везенье, и прозренье,
и раскаянье, и смерть.

И пронзенный этим знаньем,
все запомнив назубок,
перед главным наказаньем
призадумался ездок,

не прося услад у Бога,
не прельщаясь на обман...
Все равно одна дорога —
пыль, разлука да туман.

* * *

Д. Самойлову

На углу у гастронома,
на стеченье мостовых
как два древних астронома —
два печальных постовых.

Что ж вы дремлете, ребята?!
Собирайте-ка отряд:
недалече от Арбата
снова в Пушкина палят!

Похудевший и небритый,
приложась щекой к земле,
он о п я т ь лежит убитый
с грустной думой на челе.

Пистолет старинный рядом,
весь сюртук уже в крови,
где-то, за потухшим взглядом —
крик надежды и любви.

Пушкин, Пушкин, счет обидам —
очень грустная статья.
Но неужто быть убитым —
привилегия твоя?

Пистолет стреляет прямо,
да молва спешит в обход...
Ах, ни бронза и ни мрамор
не спасают от забот.

И опять невежда скромный
выбегает на Тверской
и огромный перст погромный
водружает над Москвой.

И опять над постаментом
торопливым инструментом
водружают монумент,
как эпохи документ.

Большая перемена
(школьная песенка)

Долгий звонок соловьем пропоет в тишине,
всем школярам перемену в судьбе обещая.
Может, затем, чтоб напомнить тебе обо мне,
перемена приходит большая.

Утро и ночь проплывают за нашим окном.
Хлеб и любовь неразлучными ходят по кругу.
Долгий звонок... Мы не раз еще вспомним о нем,
выходя на свиданье друг к другу.

Время не ждет. Где-то замерли те соловьи.
Годы идут. Забываются школьные стены.
Но до конца... Это, видимо, в нашей крови
ожиданье большой перемены.

* * *

Ю. Мориц

Среди стерни и незабудок
не нами выбрана стезя,
и родина — есть предрассудок,
который победить нельзя.

* * *

Живые, вставай-подымайся,
будь счастлив, кто снова живой,
на первый-второй рассчитайся,
ряды поредевшие сдвой.

Чисты ваши тонкие руки,
ясна ваших глаз синева.
Цена на минувшие муки
ничтожна, как дым и слова.

Чем дальше от юности дерзкой,
тем ближе мы к черной земле,
и отсветы бури вселенской
лежат как печать на челе.

И все неподатливей струны,
и с каждой минутой трудней
увидеть в усмешке фортуны
улыбку надежды своей.

Но если сержанта бывшего
из тьмы появляется лик,
душа моя, честное слово,
опять замирает на миг.

И если учитель ворчливый
к доске предлагает пройти,
иду я, как мальчик счастливый,
и верю, что всё — впереди.

* * *

Песенка короткая, как жизнь сама,
где-то в дороге услышанная,
у нее пронзительные слова,
а мелодия почти что возвышенная.

Она возникает с рассветом, вдруг,
медлить и врать не обученная,
она как надежда из первых рук
в дар от природы полученная.

От дверей к дверям, из окна в окно
вслед за тобой она тянется.
Все пройдет, чему суждено,
только она останется.

Песенка короткая, как жизнь сама,
где-то в дороге услышанная,
у нее пронзительные слова,
а мелодия почти что возвышенная.

Арбатский романс

Арбатского романса знакомое шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастие;
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное «здрасьте»...

Не мучьтесь понапрасну: она ко мне добра.
Светло иль грустно — век почти что прожит.
Поверьте, эта дама из моего ребра,
и без меня она уже не может.

Бывали дни такие — гулял я молодой,
глаза глядели в небо голубое,
еще был не разменян мой первый золотой,
пылали розы, гордые собою.

Еще моя походка мне не была смешна,
еще подошвы не поотрывались,
за каждым поворотом, где музыка слышна,
какие мне удачи открывались!

Любовь такая штука: в ней так легко пропасть,
зарыться, закружиться, затеряться...
Нам всем знакома эта мучительная страсть,
поэтому нет смысла повторяться.

Не мучьтесь понапрасну: всему своя пора.
Траву взрастите — к осени сомнется.
Вы начали прогулку с арбатского двора,
к нему-то все, как видно, и вернется.

Была бы нам удача всегда из первых рук,
и как бы там ни холило, ни било,
в один прекрасный полдень оглянетесь вокруг,
и всё при вас, целехонько, как было:

арбатского романса знакомое шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастье,
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное «здрасьте»...

Песенка о Моцарте

И. Балаевой

Моцарт на старенькой скрипке играет.
Моцарт играет, а скрипка поет.
Моцарт отечества не выбирает —
просто играет всю жизнь напролет.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба — то гульба, то пальба...
Не оставляйте стараний, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

Где-нибудь на остановке конечной
скажем спасибо и этой судьбе,
но из грехов нашей родины вечной
не сотворить бы кумира себе.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба — то гульба, то пальба...
Не расставайтесь с надеждой, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

Коротки наши лета молодые:
миг — и развеются, как на кострах.
Красный камзол, башмаки золотые,
белый парик, рукава в кружевах.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба — то гульба, то пальба...
Не обращайтесь вниманья, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

Военные портняжки

Все военные портняжки —
золотые мастера.
Уважайте труд их тяжкий
и сегодня, как вчера.

Потому что командиры
(любо-дорого смотреть)
наряжаются в мундиры,
чтоб красиво умереть.

Чтоб лежать на поле бранном,
не жалея ни о ком,
не недужным и не пьяным,
а застреленным врагом.

Чтоб лежать на бранном поле
рядом с верными людьми
не по чьей-то злобной воле,
а по собственной любви.

То не ветер в поле стонет,
не дубравушка шумит...
Их никто на смерть не гонит —
сердце чистое велит.

И тогда над смертью слава
нарождается в дыму.
Разве в мире есть держава,
безразличная к сему?

Ничего, что не добратья
вновь до дома своего...
Слава Богу, новобранцам
есть учиться у кого!

Вот поэтому портняжки
так обучены кроить,
так изогнуты, бедняжки,
чтобы славе угодить.

И поэтому мундиры
так кроются день и ночь,
чтоб блистали командиры,
уходя из жизни прочь.

Речитатив

Владлену Ермакову

Тот самый двор, где я сажал березы,
был создан по законам вечной прозы
и образцом дворов арбатских слыл;
там, правда, не выращивались розы,
да и Гомер туда не заходил...
Зато поэт Глазков напротив жил.

Друг друга мы не знали совершенно,
но, познавая белый свет блаженно,
попеременно — снег, дожди и сушь,
разгулы будней, и подъездов глушь,
и мостовых дыханье, неизменно
мы ощущали близость наших душ.

Ильинку с Божедомкою, конечно,
не в наших нравах предавать поспешно,
и Усачевку, и Охотный ряд...
Мы с ними слиты чисто и безгрешно,
как с нашим детством — сорок лет подряд;
мы с детства их пророки... Но Арбат!

Минувшее тревожно забывая,
на долголетье втайне уповая,
всё медленней живем, всё тяжелей...
Но песня тридцать первого трамвая
с последней остановкой у Филей
звучит в ушах, от нас не отставая.

И если вам, читатель торопливый,
он не знаком, тот гордый, сиротливый,
извилистый, короткий коридор
от ресторана «Праги» до Смоляги
и рай, замаскированный под двор,
где все равны: и дети и бродяги,
спешите же... Все остальное — вздор.

***Приезжая семья фотографируется
у памятника Пушкину***

А. Цибулевскому

На фоне Пушкина снимается семейство.
Фотограф щелкает, и птичка вылетает.
Фотограф щелкает, но вот что интересно:
на фоне Пушкина! И птичка вылетает.

Все счета кончены, и кончены все споры.
Тверская улица течет, куда, не знает.
Какие женщины на нас кидают взоры
и улыбаются... И птичка вылетает.

На фоне Пушкина снимается семейство.
Как обаятельны (для тех, кто понимает)
все наши глупости и мелкие злодеяства
на фоне Пушкина! И птичка вылетает.

Мы будем счастливы (благодаренье снимку!).
Пусть жизнь короткая проносится и тает.
На веки вечные мы все теперь в обнимку
на фоне Пушкина! И птичка вылетает.

Считалочка для Беллы

Я сидел в апрельском сквере.
Предо мной был Божий храм,
но не думал я о вере,
а глядел на разных дам.

И одна, едва пахнуло
с несомненностью весной,
вдруг на веточку вспорхнула
и уселась предо мной.

В модном платьице коротком,
в старомодном пальтеце,
и ладонь — под подбородком,
и загадка на лице.

В той поре, пока безвестной,
обозначенной едва:
то ли поздняя невеста,
то ли юная вдова.

Век мой короток — не жалко,
он длинней и ни к чему...
Но она петербуржанка
и бессмертна посему.

Шли столетья по России,
бил надежды барабан.
Не мечи людей косили —
слава, золото и обман.

Что ни век — всё те же нравы,
ухищренья и дела...
А Она вдали от славы
на Васильевском жила.

Знала счет шипам и розам
и безгрешной не слыла.
Всяким там метаморфозам
не подвержена была.

Но когда над Летним садом
возносилась луна,
Михаилу с Александром,
верно, грезилась Она.

И в дороге, и в опале,
и крылаты, и без крыл,
знать, о Ней лишь помышляли
Александр и Михаил.

И загадочным и милым
лик Ее сиял живой
Александр с Михаилом
перед пулей роковой.

Эй вы, дней былых поэты,
старики и женихи,
признавайтесь, кем согреты
ваши перья и стихи?

Как на лавочке сиделось,
чтобы душу усладить,
как на барышень гляделось,
не стесняйтесь говорить.

Как туда вам все летелось
во всю мочь и во всю прыть...
Как оттуда не хотелось
в департамент уходить!

Послевоенное танго

Вяч. Кондратьеву

Восславив тяготы любви и свои слабости,
слетались девочки в тот двор, как пчелы в августе;
и совершалось наших душ тогда мужание
под их загадочное жаркое жужжание.

Судьба ко мне была щедра: надежд подбрасывала.
Да жизнь по-своему текла — меня не спрашивала.
Я пил из чашки голубой — старался дочиста...
Случайно чашку обронил — вдруг август кончился.

Двор закачался, загудел, как хор под выстрелами,
и капельмейстер удалой кричал нам что-то...
Любовь иль злоба наш удел? Подем ли, выстоим ли?
Мужайтесь, девочки мои! Прощай, пехота!

Примяли наши сапоги траву газонную,
все завертелось по трубе по гарнизонной.
Благословили времена шинель казенную,
не вышла вечною любовь — а лишь сезонной.

Мне снятся ваши имена — не помню облика:
в какие ситчики вам грезилось облечься?
Я слышу ваши голоса — не слышу отклика,
но друг от друга нам уже нельзя отречься.

Я загадал лишь на войну — да не исполнилось.
Жизнь загадала навсегда — сошлось с ответом...
Поплачьте, девочки мои, о том, что вспомнилось,
не уходите со двора: нет счастья в этом!

* * *

С каждым часом мы старше
от беды и от любви.
Хочешь жить — живи скорее,
а не хочешь — не живи.

Не кори меня, Настасья,
долгих счетов не своди.
С тем, что было, я расстался,
а что будет — впереди.

Николай нальет,
Михаил пригубит.
Кто совсем не пьет —
тот себя погубит.

Кто там робкий, кто там пылкий —
все равно стезя одна.
Не молись, дурак, бутылке —
просто пей ее до дна!

Не для праздного безделья
нас фортуна призвала...
Дай Бог легкого похмелья
после трудного стола!

Николай нальет,
Михаил пригубит.
Кто совсем не пьет —
тот себя погубит.

Бог простит, беда научит,
судьба с жизнью разлучит.
Кто что стоит, то получит,
а не стоит — пусть молчит.

Наша жизнь — ромашка в поле,
пока ветер не сорвет...
Дай Бог воли! Дай Бог воли!
Остальное заживет.

Николай нальет,
Михаил пригубит.
Кто совсем не пьет —
тот себя погубит.

Старинная солдатская песня

Отшумели песни нашего полка,
отзвенели звонкие копыта.
Пулями пробито днище котелка,
маркитантка юная убита.

Нас осталось мало: мы да наша боль.
Нас немного, и врагов немного.
Живы мы покуда, фронтовая голь,
а погибнем — райская дорога.

Руки на затворе, голова в тоске,
а душа уже взлетела вроде.
Для чего мы пишем кровью на песке?
Наши письма не нужны природе.

Спите себе, братцы, — все придет опять:
новые родятся командиры,
новые солдаты будут получать
вечные казенные квартиры.

Спите себе, братцы, — все начнется вновь,
все должно в природе повториться:
и слова, и пули, и любовь, и кровь...
Времени не будет помириться.

Жизнь охотника

К. Ваншенкину

1

Первый день, первый день!
Все прекрасно, все здорово,
хоть уже на всем второго
дня
лежит косая тень.

2

День второй — день чудес,
день охоты, день объятий,
никаких еще проклятий
ни из уст и ни с небес.

Всё пока как будто впрок,
все еще полно значенья,
голосок ожесточенья
легкомыслен, как щенок.

3

Третий день — день удач.
За удачею — удача.
Удивляйся и чудачь,
поживи еще, чудача.

Нет пока лихих годин
выражений осторожных...
Бог беды на тонких ножках
в стороне бредет один.

И счастливой на века
обещает быть охота,
и вторая капля пота,
как амброзия, сладка.

4

День четвертый. Рука
оперлась о подлокотник...
Что-то грустен стал охотник,
нерешителен слегка.

Вездесущая молва
о возможном все страннее,
капли пота солонее,
и умеренней слова.

Счастлив будь, Сурок в норе!
Будь спокойна, Птица в небе!
Он — в раздумьях о добре,
в размышлениях о хлебе.

Из ствола не бьет дымок,
стрелы колют на лучину.
Всё, что было лишь намек,
превращается в причину.

5

Пятый день. Холодна
за окном стоит погода.
Нет охоты — есть работа.
Пота нет — лишь соль одна.

Отрешенных глаз свинец,
губ сухих молчанье злое...
Не похоже, чтоб скупец,
скапливающий былое.

Непохоже, чтоб глупец,
на грядущее плюющий,
пьянствующий иль непьющий,
верующий или лжец.

Может, жизнь кроя свою
на отдельные полоски,
убедился, что в авоське
больше смысла, чем в раю?..

Или он вдруг осознал,
что, спеша и спотыкаясь,
радуясь и горько каясь,
ничего не обогнал?

Что он там? Чему не рад
сам себе холоп и барин?
Был, как бес, высокопарен,
стал задумчив, как Сократ.

6

День шестой, день шестой...
Все теперь уже понятно:
путь туда такой простой —
это больно и приятно.

Все сбывается точь-в-точь,
как напутствие в дорогу.
Тайна улетает прочь...
Слава Богу,
слава Богу.

Доберемся как-нибудь
(что нам — знойно или вьюжно?),
и увязывать не нужно
чемоданы в дальний путь.

Можно просто налегке,
не трясясь перед ошибкой,
с дерзновенною улыбкой,
словно с тросточкой в руке.

Остается для невежд
ожиданье дней, в которых
отсыревший вспыхнет порох
душ,
или раздастся шорох
вновь проснувшихся надежд.

Что ты там ни славословь,
как ты там ни сквернословь,
не кроится впрок одежда...

Жизнь длиннее, чем надежда,
но короче, чем любовь.

7

День седьмой.
Выходной.
Дверь открыта выходная.
Дверь открыта в проходной...
До свиданья,
проходная!

Батальное полотно

Сумерки. Природа. Флейты голос нервный.

Позднее катанье.

На передней лошади едет император
в голубом кафтане.

Серая кобыла с карими глазами,
с челкой вороною.

Красная попона. Крылья за спиною,
как перед войною.

Вслед за императором едут генералы,
генералы свиты,

славою увиты, шрамами покрыты,
только не убиты.

Следом — дуэлянты, флигель-адъютанты.

Блещут эполеты.

Все они красавцы, все они таланты,
все они поэты.

Все слабее звуки прежних клавесинов,
голоса былые.

Только топот мерный, флейты голос нервный
да надежды злые.

Все слабее запах очага и дыма,
молока и хлеба.

Где-то под ногами и над головами —
лишь земля и небо.

На берегу Великого Океана

Покуда поздняя заря еще не скована туманом,
замри, счастливый пешеход, перед Великим
Океаном:
там в синих сумерках воды, в сиреневых ее закатах
так много ангелов простых, любвеобильных
и крылатых.

Вон среди зарослей и мглы, как стройный
мальчик на крылечке,
колышется конек морской без седока
и без уздечки,
не знающий кнута и шпор, не ведающий поля
брани...
Мне слышится из глубины его загадочное ржанье.

Вон сельдь плывет среди равнин. Кто знает,
что у той селедки —
змеиный бюст, акулий нрав и сердце девочки
в сердечке?
Кто знает, что в ее душе, затейливой и
многогранной,
под платицем ее смешным, в улыбке ласковой,
но странной?

Баллада о гусаке

Лежать бы гусаку
в жаровне на боку,
да, видимо, немного
пофартило старику.
Не то чтобы хозяин
пожалел его всерьез,
а просто он гусятину
на завтра перенес.

Но гусак перед строем гусиным
ходит медленным шагом гусиным,
говорит им: «Вы видите сами,
мы с хозяином стали друзьями!»

Старается гусак
весь день и так и сяк,
чтоб доказать собравшимся,
что друг его — добряк,
но племя гусака
прошло через века
и знает, что жаровня
не валяет дурака.

Пусть гусак перед строем гусиным
машет крылышком псевдоорлиным,
но племя гусака
прошло через века
и знает, что жаровня
не валяет дурака.

* * *

Не слишком-то изыскан вид за окнами,
пропитан гарью и гнилой водой.
Вот город, где отца моего кокнули.
Стрелок тогда был слишком молодой.

Он был обучен и собой доволен.
Над жертвою в сомненьях не кружил.
И если не убит был алкоголем,
то, стало быть, до старости дожил.

И вот теперь на отдыхе почетном
внучат лелеет и с женой в ладу.
Прогулки совершает шагом четким
и вывески читает на ходу.

То в парке, то на рынке, то в трамвае
как равноправный дышит за спиной.
И зла ему никто не поминает,
и даже не обходят стороной.

Иные времена, иные лица.
И он со всеми как навеки слит.
И у него в бумажнике — убийца
пригрелся и усами шевелит.

И, на тесемках пестрых повисая,
гитары чьи-то в полночи бренчат,
а он все смотрит, смотрит не мигая
на круглые затылочки внучат.

Из фронтового дневника

В этом поле осколки как розги
по ногам атакующих бьют.

И колючие ржавые розы
в этом поле со звоном цветут.

И идет, не пристроившись к строю,
и задумчиво тычется в пыль
днем и ночью, верста за верстою
рядовой одноногий Костыль.

У полковника Смерти ошибки:
недостача убитых в гробах —
у солдат неземные улыбки
расцветают на пыльных губах.

Скоро-скоро случится такое:
уцелевший средь боя от ран,
вдруг запросит любви и покоя
удалой капитан Барабан.

И, не зная куда и откуда,
он пойдет, как ослепший на свет...
«Неужели вы верите в чудо?!» —
поперхнется поручик Кларнет.

Прав ли он, тот Кларнет изумленный,
возвышая свой голос живой
над годами уже не зеленой,
похоронной, сожженной травой?

Прав ли он, усомнившись в покое,
разрушая надежду окрест?..
Он, бывало, кричал не такое
под какой-нибудь венский оркестр.

Мы еще его вспомним, наверно,
где-то рядом с войною самой,
как он пел откровенно и нервно...
Если сами вернемся домой.

Мы еще его вспомним-помянем,
как передний рубеж и обоз...
Если сами до света дотянем,
не останемся здесь, среди роз.

* * *

Не будем хвастаться, что праведно живем,
а разойдемся скромно по домам.
А что останется потом,
когда мы все порем,
пусть это будет памятником нам.

И если грянет правды торжество,
пусть это будет памятником нам.
Всем станет ясно: кто — кого
и почему, и для чего...
А нынче разойдемся по домам.

* * *

Убили моего отца
ни за понюшку табака.
Всего лишь капелька свинца —
зато как рана глубока!

Он не успел, не закричал,
лишь выстрел треснул в тишине.
Давно тот выстрел отзвучал,
но рана та еще во мне.

Как эстафету прежних дней
сквозь эти дни ее несу.
Наверно, и подохну с ней,
как с трехлинейкой на весу.

А тот, что выстрелил в него,
готовый заново пальнуть,
он из подвала своего
домой поехал отдохнуть.

И он вошел к себе домой
пить водку и ласкать детей,
он — соотечественник мой
и брат по племени людей.

И уж который год подряд,
презревши боль былых утрат,
друг друга братьями зовем
и с ним в обнимку мы живем.

* * *

«Я маленький, горло в ангине...»
(Так Дезик однажды писал.)
На окнах полуночный иней,
и сон почему-то пропал.

Метался Ордынкой январской
неведомый мне человек,
наверно, с надеждой гусарской
на стол, на тепло и ночлег.

С надеждой на свет и на место,
с улуйскою розой в руках,
кидался в подъезд из подъезда,
сличал номера на домах.

Не с тем, чтобы жизнь перестроить,
а лишь обогреться душой
и розу хотя бы пристроить
в надежной ладони чужой.

Фортуна среди мрака и снега
не очень-то доброй была:
то стол без тепла и ночлега,
то мрак без стола и тепла,
то свет без еды и кровати,
то вовсе тепло не тепло...

Тот адрес загадочный, кстати,
какое сболтнуло трепло?
Все спали, один без другого
не мысля себя на веку,
не слыша, что кто-то без крова
в январском сгорает снегу.

А может, не спали — бледнели,
в потемках густых затаясь,
как будто к январской метели
лицом обернуться страшась.

Полночную тьму разрезало
неистойвой трелью звонков.
Там кожа с ладоней слезала,
коснувшись промерзших замков.

И что-то меня подымало,
сжигало, ломало всего.
Я думал: а вдруг это мама?..
Но роза в руке — для чего?

Мне слышались долгие звуки,
но я не сбегал во дворы...
И кровоточат мои руки
с той самой январской поры.

* * *

Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка:
цезарь был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.

А критики скажут, что слово «соратник» —
не римская деталь,
что эта ошибка всю песенку смысла лишает...
Может быть, может быть, может, и не римская —
не жаль:
мне это совсем не мешает, а даже меня возвышает.

Римляне империи времени упадка
ели, что достанут, напивались гадко,
а с похмелья каждый на рассол был падок...
Видимо, не знали, что у них упадок.

А критики скажут, что слово «рассол», мол,
не римская деталь,
что эта ошибка всю песенку смысла лишает...
Может быть, может быть, может, и не римская —
не жаль:
мне это совсем не мешает, а даже меня возвышает.

Юношам империи времени упадка
снились постоянно то скатка, то схватка,
то они в атаке, то они в окопе,
то вдруг на Памире, а то вдруг в Европе.

А критики скажут, что «скатка», представьте,
не римская деталь,
что эта ошибка всю песенку смысла лишает...
Может быть, может быть, может, и не римская —
не жаль:
мне это совсем не мешает, а даже меня возвышает.

Римлянкам империи времени упадка,
только им, красавицам, доставалось сладко,
все пути открыты перед ихним взором:
хочешь — на работу, а хочешь — на форум...

А критики хором: «Ах, форум! Ах, форум! —
вот римская деталь!
Одно лишь словечко, а песенку как украшает!...»
Может быть, может быть, может быть, и римская —
а жаль:
мне это немного мешает и замысел мой
разрушает.

* * *

Давайте придумаем деспота,
чтоб в душах царил он один
от возраста самого детского
и до благородных седин.

Усы ему вырастим пышные
и хищные вставим глаза,
сапожки натянем неслышные,
и проголосуем все — за.

Давайте придумаем деспота,
придумаем, как захотим.
Потом будет спрашивать не с кого,
коль вместе его создадим.

И пусть он над нами куражится
и пальцем грозит из тьмы,
пока наконец не окажется,
что с а м и им созданы мы.

* * *

Чувствую: пора прощаться.
Всё решительно к тому.
Не угодно ль вам собраться
у меня, в моем дому?

Будут ужин и гитара,
и слова под старину.
Я вам буду за швейцара —
ваши шубы отряхну.

И, за ваш уют радея,
как у нас теперь в ходу,
я вам буду за лакея
и за повара сойду.

Приходите, что вам стоит!
Путь к дверям не занесен.
Оля в холле стол накроет
на четырнадцать персон.

Ни о чем не пожалею,
и, с бокалом на весу,
я последний раз хореем
тост за вас произнесу.

Нет, не то чтоб перед светом
буйну голову сложу...
Просто, может, и поэтом
вам при этом послужу.

Был наш путь не слишком гладок.
Будет горек черный час...
Дух прозренья и загадок
пусть сопровождает нас.

Я пишу исторический роман

В. Аксенову

В склянке темного стекла
из-под импортного пива
роза красная цвела
гордо и неторопливо.
Исторический роман
сочинял я понемногу,
пробиваясь как в туман
от пролога к эпилогу.

Были дали голубы,
было вымысла в избытке,
и из собственной судьбы
я выдергивал по нитке.
В путь героев снаряжал,
наводил о прошлом справки
и поручиком в отставке
сам себя воображал.

Вымысел — не есть обман.
Замысел — еще не точка.
Дайте дописать роман
до последнего листочка.
И пока еще жива
роза красная в бутылке,
дайте выкрикнуть слова,
что давно лежат в копилке:



каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
не стараясь угодить...
Так природа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить.

* * *

Сестра моя прекрасная, Натела,
прошли года, а ты помолодела —
так чист и ясен пламень глаз твоих...
Возьми родную речь, горбушку хлеба,
и эти облака, и это небо
и раздели на нас, на шестерых.

Вот заповедь ушедшего поэта,
чья песня до конца еще не спета.
Сестра моя, всё — только впереди!
Пускай завистникам пока нейдет...
Галактион когда-нибудь вернется,
он просто задержался по пути.

Средь океана слов и фраз напрасных,
не столь прекрасных, сколько безопасных,
как острова лежат его слова,
спешит перо как будто пред грозюю...
Его глаза подернуты слезою:
поэты плачут — нация жива.

* * *

Берегите нас, поэтов. Берегите нас.
Остаются век, полвека, год, неделя, час,
три минуты, две минуты, вовсе ничего...
Берегите нас. И чтобы все — за одного.

Берегите нас с грехами, с радостью и без.
Где-то, юный и прекрасный, ходит наш Дантес.
Он минувшие проклятья не успел забыть,
но велит ему призванье пулю в ствол забить.

Где-то плачет наш Мартынов — поминает кровь.
Он уже убил однажды, он не хочет вновь.
Но судьба его такая, и свинец отлит,
и двадцатое столетье так ему велит.

Берегите нас, поэтов, от дурацких рук,
от поспешных приговоров, от слепых подруг.
Берегите нас, покуда можно уберечь.
Только так не берегите, чтоб костями нам лечь,

только так не берегите, как борзых псари,
только так не берегите, как псарей цари.
Будут вам стихи и песни, и еще не раз...
Только вы нас берегите, берегите нас.

Чаепитие на Арбате

Пейте чай, мой друг старинный,
забывая бег минут.
Желтой свечкой стеариновой
я украшу ваш уют.

Не грустите о поленьях,
о камине и огне...
Плед шотландский на коленях,
занавеска на окне.

Самовар, как бас из хора,
напевает в вашу честь,
даже чашка из фарфора
у меня, представьте, есть.

В жизни выбора не много:
кому — день, а кому — ночь.
Две дороги от порога:
одна — в дом, другая — прочь.

Нынче мы — в дому прогретом,
а не в поле фронтовом,
не в шинелях, и об этом
лучше как-нибудь потом.

Мы не будем наши раны
пересчитывать опять.
Просто будем, как ни странно,
улыбаться и молчать.

Я для вас, мой друг, смешаю
в самый редкостный букет
пять различных видов чая
по рецептам прежних лет.

Кипятком крутым, бурлящим
эту смесь залью для вас,
чтоб бывшее с настоящим
не сливалось хоть сейчас.

Настояться дам немножко,
осторожно процежу
и серебряную ложку
рядом с чашкой положу.

Это тоже вдохновенье...
Но, склонившись над столом,
на какое-то мгновенье
все же вспомним о былом:

над безумною рекою
пулеметный ливень сек,
и холодную щекою
смерть касалась наших щек.

В битве выбор прост до боли:
или пан, или пропал...
А потом, живые, в поле
мы устроили привал.

Нет, не то чтоб пировали,
а, очухавшись слегка,
просто душу согревали
кипятком из котелка.

Разве есть напиток краше?
Благодарствуй, котелок!
Но встречал в блаженство наше
чей-то горький монолог:

«Как бы ни были вы святы,
как ни праведно житье,
вы с ума сошли, солдаты:
это — дрянь, а не питье!

Вас забывчивость погубит,
равнодушие вас убьет:
тот, кто крепкий чай разлюбит,
сам предаст и не поймет...»

Вы представьте, друг любезный,
как казались нам смешны
парадоксы те из бездны
фронтowego сатаны.

В самом деле, что — крученный
чайный лист — трава и сор
пред планетой, обреченной
на страданье и разор?

Что — напиток именитый?..
Но, средь крови и разлук,
целый мир полузабытый
перед нами ожил вдруг.

Был он теплый и прекрасный...
Как обида нас ни жгла,
та сентенция напрасной,
очевидно, не была.

Я клянусь вам, друг мой давний,
не случайны с древних лет
эти чашки, эти ставни,
полумрак и старый плед,

и счастливый час покоя,
и заварки колдовство,
и завидное такое
мирной ночи торжество:
разговор, текущий скупое,
и как будто даже скука,
но... не скука — естество.

Песенка кавалергарда

Кавалергарды, век не долог,
и потому так сладок он.
Поет труба, откинут полог,
и где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос струнный,
но командир уже в седле...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!

Течет шампанское рекою,
и взгляд туманится слегка,
и всё как будто под рукою,
и всё как будто на века.
Но как ни сладок мир подлунный —
лежит тревога на челе...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!

Напрасно мирные забавы
продлить пытаетесь, смеясь.
Не раздобыть надежной славы,
покуда кровь не пролилась...
Крест деревянный иль чугунный
назначен нам в грядущей мгле...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!

Лунин в Забайкалье

Н. Эйдельману

Мелькнуло короткое лето.
Увяла забвенья трава.
Какая-то женщина где-то
на вас потеряла права.

О вы, неудачник опасный,
скажите: зачем-почему
сменили халат свой атласный
на вечную эту тюрьму?

Ступайте на волю скорее,
велите возок заложить...
Чем медленней мы — тем старее.
Пора бы собой дорожить.

Отвага нас детская мучит,
в кирпич кулачками стучит.
Дерзаниям штык не научит,
с любовью замок разлучит.

Неужто что было, то было?
И гвардия вас позабыла,
и даже не снитесь вы ей...

А чем же вы это опасны?
Наверное, тем, что прекрасны,
и тем, что, наверно, пристрастны
в любви к отчизне своей.

Кабинеты моих друзей

Что-то дождичек удач падает не часто.
Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить.
Скоро все мои друзья выбьются в начальство,
и, наверно, мне тогда станет легче жить.

Робость давнюю свою я тогда осилю.
Как пойдут мои дела — можно не гадать:
зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю,
и на сердце у меня будет благодать.

Зайду к Белле в кабинет, скажу: «Здравствуй, Белла!»
Скажу: «Дело у меня, помоги решить...»
Она скажет: «Ерунда, разве это дело?..»
И конечно, сразу мне станет легче жить.

Часто снятся по ночам кабинеты эти,
не сегодняшние, нет; завтрашние, да:
самовары на столе, дама на портрете...
В общем, стыдно по пути не зайти туда.

Города моей страны все в леса одеты,
звук пилы и топора трудно заглушить:
может, это для друзей строят кабинеты —
вот построят, и тогда станет легче жить.

Боярышник «Пастушья шпора»

Боярышник «Пастушья шпора» —
моя надежда и опора,
мой Росинант, мое седло...
Куда бы время ни текло,
от дружеского разговора
в душе становится светло,
и нету места в ней для вздора.

Душа — зеркальное стекло:
два силуэта в ней прекрасных,
враждующих и несогласных.
Мне холодно, а им тепло.

Тот маленький из них, который
как клерк из маленькой конторы,
довольный маленьким бытjem,
как узник — коркой и битьем,
такой, с иголки одетый,
влюбленный в женщину до слез...
И как букеты белых роз
несущий белые манжеты...

И тот большой из них, который
готов толкнуть меня на споры
легко, играючи, со зла,
как волк в кольце охрипшей своры,
не знающий, что жизнь прошла...

Бесчинствуйте, кому охота!
А у меня одна забота:
туда отправиться скорей,
где тянется от косогора
боярышник «Пастушья шпора»
рукой своей
к слезе моей.

* * *

Ф. Искандеру

Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет.
Что назначено судьбою — обязательно случится:
то ли самое прекрасное в окошко постучится,
то ли самое напрасное в объятя упадет.

Две жизни прожить не дано,
два счастья — затея пустая.
Из двух выпадает одно —
такая уж правда простая.

Кому проиграет труба
печальные в небо мотивы,
кому улыбнется судьба,
а он улыбнется, счастливый.

Так не делайте ж запасов из любви и доброты
и про черный день грядущий не копите милосердые:
пропадет ни за понюшку ваше горькое усердые,
лягут ранние морщины от напрасной суеты.

Две жизни прожить не дано,
два счастья — затея пустая.
Из двух выпадает одно —
такая уж правда простая.

Кому проиграет труба
печальные в небо мотивы,
кому улыбнется судьба,
а он улыбнется, счастливый.

Жаль, что молодость мелькнула,
жаль, что старость коротка.
Всё теперь как на ладони: лоб в поту, душа в ушибах...
Но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок —
только ровная дорога до последнего звонка.

Две жизни прожить не дано...

Пожелание друзьям

Ю. Трифонову

Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты —
ведь это всё любви счастливые моменты.

Давайте горевать и плакать откровенно
то вместе, то поврозь, а то попеременно.
Не будем придавать значения злословью —
поскольку грусть всегда соседствует с любовью.

Давайте понимать друг друга с полуслова,
чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.
Давайте жить, во всем друг другу потакая, —
тем более что жизнь короткая такая!

***Божественная Суббота,
или Стихи о том, как нам
с Зиновием Гердтом
в одну из суббот
не было куда торопиться***

Божественной Субботы
хлебнули мы глоток.
От празднеств и работы
закрылись на замок.
Ни суетная дама,
ни улиц мельтешня
нас не коснутся, Зяма,
до середины дня.

Как сладко мы курили!
Как будто в первый раз
на этом свете жили
и он сиял для нас.
Еще придут заботы,
но главное в другом:
божественной Субботы
нам терпкий вкус знаком!

Уже готовит старость
свой неперемный суд.
А много ль нам досталось
за жизнь таких минут?

На пышном карнавале
торжественных невзгод
мы что-то не встречали
божественных суббот.

Ликуй, мой друг сердечный,
сдаваться не спеши,
пока течет он, грешный,
неспешный пир души.
Дыши, мой друг, свободой...
Кто знает, сколько раз
еще такой субботой
наш век одарит нас.



Да здравствует Великий Понедельник!
Все трудятся, и в доме ни души.
Лишь я один — классический бездельник:
плюй в потолок и думай, и дыши.

Да здравствует и Вторник Величавый,
прощающий наш суетливый быт.
Все носятся за хлебом и за славой,
и счастлив я, что всеми позабыт.

Да здравствует Среда — День Перевальный!
(За мир и тишину чего не дашь?)
Как смирен без гостей мой стол овальный
и как безлюден за окном пейзаж.

Да здравствует Четверг — мое почтение!
Бумага терпит, и перо бежит,
и старых мыслей новое прочтение
господствует и голову кружит.

Да здравствует и Пятница!
Но странно
преобразился мир в моем окне:
что с ними? От какого урагана
бежит толпа?
И все ко мне, ко мне...

Неладна будь, Суббота дорогая,
покой мой уносящая в когтях,
меня без сожаленья обрекая
на болтовню о ценах и вождах!

Будь проклято, Святое Воскресенье!
Святой огонь в душе моей затих.
Бесчинствует мой ЖЭК, и нет спасенья
от потных современников моих.

* * *

Заезжий музыкант целуется с трубою,
пассажи по утрам, так просто, ни о чем...
Он любит не тебя. Опомнись. Бог с тобою.
Прижмись ко мне плечом,
прижмись ко мне плечом.

Живет он третий день в гостинице районной,
где койка у окна — всего лишь по рублю.
И на своей трубе, как чайник, раскаленной,
вздыхает тяжело...
А я тебя люблю.

Ты слушаешь его задумчиво и кротко,
как пенье соловья, как дождь и как прибор.
Его большой трубы простуженная глотка
отчаянно хрипит. (Труба, трубы, трубой...)

Трубач играет туш, трубач потеет в гамме,
трубач хрипит свое и кашляет, хрипя...
Но как портрет судьбы — он весь в оконной раме,
да любит не тебя...
А я люблю тебя.

Дождусь я лучших дней и новый плащ надену,
чтоб пред тобой проплыть, как поздний лист, дрожа...
Не много ль я хочу, всему давая цену?
Не сладко ль я живу, тобой лишь дорожа?

Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью:
заезжий музыкант играет на трубе!
Что мир весь рядом с ней, с ее горячей медью?..
Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе...

* * *

А мы с тобой, брат, из пехоты.
А летом лучше, чем зимой.
С войной покончили мы счеты...
Бери шинель —
пошли домой.

Война нас гнула и косила.
Теперь конец и ей самой.
Четыре года мать без сына...
Бери шинель —
пошли домой.

Мы все — войны шальные дети:
и генерал и рядовой.
Опять весна на белом свете...
Бери шинель —
пошли домой.

К золе и пеплу наших улиц
опять, опять, товарищ мой,
скворцы пропавшие вернулись...
Бери шинель —
пошли домой.

А ты с закрытыми очами
спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай, однополчанин,
бери шинель —
пошли домой.

Что я скажу твоим домашним?
Как встану я перед вдовой?
Неужто клясться днем вчерашним?..
Бери шинель —
пошли домой.

* * *

О. Чухонцеву

Я вновь повстречался с Надеждой — приятная
встреча.

Она проживает все там же — то я был далече.
Все то же на ней из поплина счастливое платье,
все так же горящ ее взор, устремленный в века...
Ты наша сестра, мы твои непутевые братья,
и трудно поверить, что жизнь коротка.

А разве ты нам обещала чертоги златые?
Мы сами себе их рисуем, пока молодые,
мы сами себе сочиняем и песни и судьбы,
и горе тому, кто одернет не вовремя нас...
Ты наша сестра, мы твои торопливые судьи,
нам выпало счастье, да скрылось из глаз.

Когда бы любовь и надежду связать воедино,
какая бы (трудно поверить) возникла картина!
Какие бы нас миновали напрасные муки,
и только прекрасные муки глядели б с чела...
Ты наша сестра. Что ж так долго мы были в разлуке?
Нас юность сводила, да старость свела.

* * *

Стоит задремать немного,
сразу вижу Самого.
Рядом, по ранжиру строго,
собутельнички его.

Сталин трубочку раскурит —
станут листья опадать.
Сталин бровь свою нахмурит —
трем народам не бывать.

Что ничтожный тот комочек
перед ликом всей страны?
А усы в вине намочит —
все без удержу пьяны.

Вот эпоха всем эпохам!
Это ж надо — день ко дню,
пусть не сразу, пусть по крохам,
обучала нас вранью.

И летал усатый сокол,
целый мир вгоняя в дрожь.
Он народ ценил высоко,
да людей не ставил в грош.

Нет, ребята, вы не правы
в объясненьи прошлых драм,
будто он для нашей славы
нас гонял по лагерям.

С его именем ходили
(это правда) на врага,
но ведь и друг дружку били
(если правда дорога).

А дороги чем мостили?
А за все платили чем?
Слишком быстро все простили,
позабыли между тем...

Нет, ребята, хоть упрямы
демонстрации любви,
но следы минувшей драмы
все равно у нас в крови.

Чем история богата,
тем и весь народ богат...
Нет, вы знаете, ребята,
Сталин очень виноват.

Сентябрь

Чем дальше от Москвы, тем чище дух крестьянства,
тем голубей вода, тем ближе к небесам.
Гармоники лесной завидно постоянство,
и гармониста чуб склоняется к басам.

Мелькают пальцы в ряд, рискованно и споро,
рождается мотив в сентябрьском огне,
и синие глаза как синие озера...
Но бремя тяжких дум на их песчаном дне.

Как сладко в том краю, чужих невзгод не зная.
Чем ближе к небесам — тем ненаглядней твердь.
И плачет о своем гармоника лесная,
и на ее слезу попробуй не ответь.

Дом на Мойке

Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона,
не просто тротуар исхоженный, а поле — вечно
и огромно,
вся жизнь, как праздник запоздалый, как
музыкант в краю чужом,
отрезок набережной давней, простертой за его
окном.

Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона,
все уместилось понемногу: его любовь, его корона,
беспомощность — его кормилица, и перевозчика
весло...
О чем, красотка современная, ты вдруг вздохнула
тяжело?

Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона,
как между Было и Не стало — нерукотворная
черта.
Ее мы топчем упоенно, и преступаем окрыленно,
и кружимся, и кувыркаемся, и не боимся ни черта.

Прогуливаясь вдоль по набережной, предвидеть
ничего нельзя.
Как просто тросточкой помахивать,
раскланиваясь и скользя!
Но род людской в прогулке той не уберется от урона
меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона.

Пиратская лирическая

В ночь перед бурею на мачте горят святого Эльма
свечки,
отогревают наши души за все минувшие года.
Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки
как овечки,
да только в Портленд воротиться нам не придется
никогда.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай несет
нас черный парус,
пусть будет крепок ром ямайский, все остальное
ерунда.
Когда воротимся мы в Портленд, ей-Богу, я во всем
покаюсь.
Да только в Портленд воротиться нам не придется
никогда.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец
помрет со страху,
Ни Бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.
Когда воротимся мы в Портленд, клянусь — я сам
взбегу на плаху.
Да только в Портленд воротиться нам не придется
никогда.

Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото
как братья,
поскольку денежки чужие не достаются без труда.
Когда воротимся мы в Портленд, нас примет родина
в объятья.
Да только в Портленд воротиться не дай нам, Боже,
никогда.

* * *

Впереди идет сержант.
На груди — лиловый бант.
А в глазах его печальных — и надежда и талант.

Он не любит воевать.
Он не хочет убивать.
Он ничьи не может жизни у природы воровать.

А за ним идет солдат
не высок, не бородат.
Он такому командиру и признателен и рад.

У него в доме жена.
Не нужна ему война.
А уж если разобраться, то кому она нужна?

Впрочем, эти двое — сон
в обрамлении погон,
исключение из правил, а не норма, не закон.

Ведь у прочих всё не так:
все — вояки из вояк,
а с вояками такими уцелеть нельзя никак.

* * *

В. Некрасову

Мы стоим с тобой в обнимку возле Сены,
как статисты в глубине парижской сцены,
очень скромно, натурально, без прикрас...
Что-то вечное проходит мимо нас.

Расставались мы где надо и не надо —
на вокзалах и в окопах Сталинграда,
на минутку и навеки, и не раз...
Что-то вечное проходит мимо нас.

* * *

Канадский берег под моим крылом.
Мое крыло над берегом нависло.
Арбат — мой дом, но и весь мир — мой дом...
Все остальное не имеет смысла.

* * *

Понедельник, после вторник,
Среда тоже...
Тот начальник, этот дворник —
рожа к роже.

Четверг, пятница, суббота,
воскресенье...
Кому честь, кому работа,
мне спасенье.

Кликну мальчиков с Арбата,
что живые.
Они все свои ребята
золотые.

Пойдем к Зине, пойдем к Саше,
пойдем к Насте...
Это барышни все наши —
с ними счастье.

* * *

Я живу в ожидании краха,
унижений и всяких утрат.
Я, рожденный в империи страха,
даже празднествам светлым не рад.

Все кончается на полуслове
раз, наверно, по сорок на дню...
Я, рожденный в империи крови,
и своей-то уже не ценю.

* * *

Красный снегирь на июньском суку —
шарфик на горлышке.
Перебороть соберусь на муку
хлебные зернышки.

И из муки, из крупитчатой той,
выпеку, сделаю
крендель крылатый, батон золотой,
булочку белую.

Или похвастаюсь перед тобой
долею тяжкою:
потом и болью, соленой судьбой,
горькой черняшкою.

А уж потом погляжу между строк
(так, от безделия),
как они лягут тебе на зубок,
эти изделия.

* * *

Сталин Пушкина листал,
суть его понять старался,
но магический кристалл
непрозрачным оставался.

Что увидишь сквозь него
даже острым глазом горца?
Тьму — и больше ничего,
но не душу стихотворца.

Чем он покорял народ,
если тот из тьмы и света
гимны светлые поет
в честь погибшего поэта?

Да, скрипя своим пером,
чем он потрафлял народу?
Тем, что воспевал свободу?..
Но, обласканный царем,
слыл оппозиционером,
был для юношей примером
и погиб в тридцать седьмом!..

Снова этот год проклятый,
ставший символом уже!
Был бы, скажем, тридцать пятый —
было б легче на душе.

Может, он — шпион английский,
если с Байроном дружил?
Находил усладу в риске —
вот и голову сложил...

Впрочем, может, был агентом
эфиопского царя?..
Жил, писал о том и этом,
эпиграммами соря...

Над Москвой висела полночь,
стыла узкая кровать,
но Иосиф Виссарьоныч
не ложился почивать.

Все он мог: и то, и это,
расстрелять, загнать в тюрьму,
только вольный дух поэта
неподвластен был ему.

Он в загадках заблудился
так, что тошно самому...
И тогда распорядился
вызвать Берия к нему.

* * *

Вот король уехал на войну. Он Москву покинул.
Иль не ту он карту подобрал, из колоды вынул?
Как же без него теперь Москва, сам он без Москвы?
Ни из сердца не идет она, ни из головы.

А какую видится она из окна теплушки?
Тишина на улочках ее, на западе — пушки.
Распахнулась скорбная тетрадь, а запад в огне.
Дворнику парадного крыльца словно свет в окне.

До чего ж кровавая война! Нет ее кровавей.
Но, куда он бежит, хрипя о своей державе,
перед ним — лишь мамины глаза, да судьба его,
дворик детства, крашенная дверь... Больше ничего.

Державин

Запах столетнего меда,
слова и золота вязь...
Оды державинской мода
снова в цене поднялась.

Сколько ценителей тонких,
сколько приподнятых крыл!..
Видишь, как зреет в потомках
имя твое, Гавриил?

Будто под светом вечерним
встало оно из земли...
Вот ведь и книжные черви
справиться с ним не смогли.

Стоит на миг оглянуться,
встретиться взором с тобой —
слышно: поэты клянутся
кровью твоей голубой.

Мнился уже обреченным
утлый огарок свечи...
Золото резче на черном.
Музыка звонче в ночи.

Гуще толпа у порога,
тверже под ними земля...
Нет, их не так уж и много.
Да ведь и всё от нуля.

* * *

Шарманка старая крутилась,
катилось жизни колесо.
Я пил вино за вашу милость
и за минувшее за все.

За то, что в прошлом не случилось
на бранном поле помереть,
а что разбилось — то разбилось,
зачем осколками звенеть?

Шарманщик был в пальто потертом,
он где-то в музыке витал.
Моим ладоням, к вам простертым,
значенья он не придавал.

Я вас любил, но клялся прошлым,
а он шарманку обнимал,
моим словам, земным и пошлым,
с тоской рассеянной внимал.

Текла та песня как дорога,
последних лет не торопя.
Все звуки были в ней от Бога —
ни жалкой нотки от себя.

Но падали слова убого,
живую музыку губя:
там было лишь одно от Бога,
все остальное — от себя.

* * *

Солнышко сияет, музыка играет.
Отчего ж так сердце замирает?
Там, за поворотом, недурен собою,
полк гусар стоит перед толпою.
Барышни краснеют, танцы предвкушают,
кто кому достанется, решают.

Но полковник главный на гнедой кобыле
говорит: «Да что ж вы всё забыли!
Танцы были в среду, нынче воскресенье,
с четверга — война, и нет спасенья.
А на поле брани смерть гуляет всюду.
Может, не вернемся, врать не буду!..»

Барышни не верят, в кулачки смеются,
невдомек, что вправду расстанутся.
Вы, мол, повоюйте, если вам охота,
да не опоздайте из похода...
Солнышко сияет, музыка играет,
отчего ж так сердце замирает?

На смерть Бориса Балтера

Не все ль равно, что нас сведет в могилу — пуля иль
простуда?
Там, верно, очень хорошо: ведь нет дурных вестей
оттуда.
Я жалоб не слыхал от них, никто не пожелал
вернуться.
Они молчат, они в пути. А плачут те, что остаются.

Они молчат Бог весть о чем — иные берега пред ними,
и нету разницы для них между своими и чужими.
К великой тайне приобщась, они уходят постепенно
под скорбный марш,
под вечный марш,
под польский марш,
под марш Шопена.

* * *

Оркестр играет боевые марши,
старается ни свет и ни заря.
Не лейте слез, родимые мамы,
на крылья наши слез не лейте зря!

В пророчества их горькие не веря,
мы ждали той минуты золотой,
чтоб с птицы зла попадали перья,
когда оркестр ударит духовой.

Какие нас морочили обманы!
Какие пули жалили во мгле!
А сами мы, юны и безымянны,
за что потом покоились в земле?

А все ведь та музыка удалая,
мелодии знакомой благодать
послышится, свиданье отдаляя,
сближая с тем, чего не миновать.

И свистнут пули будто бы впервые,
и выйдет смерть и поглядит в глаза...
А там — опять оркестры духовые
смешают труб и меди голоса.



Антон Палыч Чехов однажды заметил,
что умный любит учиться, а дурак учить.
Сколько дураков в этой жизни я встретил!
Мне давно пора уже орден получить.

Дураки обожают собираться в стаю.
Впереди — главный во всей красе.
В детстве я верил, что однажды встану,
а дураков нету: улетели все.

Ах, детские сны мои — какая ошибка,
в каких облаках я по глупости витал!
У природы на устах коварная улыбка...
Может быть, чего-то я не рассчитал.

А умный в одиночестве гуляет кругами,
он ценит одиночество превыше всего.
И его так просто взять голыми руками...
Скоро их поволоют всех до одного.

Когда же их поволоют, наступит эпоха,
которую не выдумать и не описать.
С умным хлопотно, с дураком плохо.
Нужно что-то среднее, да где же его взять?

Дураком быть выгодно, да очень не хочется.
Умным очень хочется, да кончится битьем...
У природы на устах коварные пророчества.
Но может быть, когда-нибудь к среднему придем.

* * *

Умереть — тоже надо уметь,
на свидание к небесам
паруса выбирая тугие.
Хорошо, если выберешь сам,
хуже, если помогут другие.

Смерть приходит тиха,
бестелесна
и себе на уме.
Грустных слов чепуха
неуместна,
как холодное платье — к зиме.

И о чем толковать?
Вечный спор
ни Христос не решил, ни Иуда...
Если там благодать,
что ж никто до сих пор
не вернулся с известьем оттуда?

Умереть — тоже надо уметь,
как прожить от признанья до сплетни,
и успеть предпоследний мазок положить,
сколотить табурет предпоследний,
чтобы к самому сроку,
как в пол — предпоследнюю чашу,
предпоследние слезы со щек...

А последнее — Богу,
последнее — это не наше,
последнее — это не в счет.

Умереть — тоже надо уметь,
как бы жизнь ни ломала
упрямо и часто...
Отпущенье грехов заиметь —
ах, как этого мало
для вечного счастья!

Сбитый с ног наповал,
отпущением ч т о он добудет?
Если б Бог отпущенье давал...
А дают-то ведь люди!

Что — грехи?
Остаются стихи,
продолжают бесчинства по свету,
не прося снисхожденья...
Да когда бы и вправду грехи,
а грехов-то ведь нету,
есть просто движенье.



Содержание

Песенка о ночной Москве	5
На Тверском бульваре	7
«Эта женщина! Увижу и немею...»	8
«Неистов и упрям...»	9
Синька	10
Сентиментальный марш	11
Веселый барабанщик	12
«Время идет, хоть шути – не шути...»	13
«Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье...»	14
«Не верь войне, мальчишка...»	15
«И когда удивительно близко...»	16
«Глаза, словно неба осеннего свод...»	17
Голубой шарик	18
«Не бродяги, не пропойцы...»	19
Ванька Морозов	20
«Нева Петровна, возле вас – всё львы...»	22
«Мне нужно на кого-нибудь молиться...»	23
Вобла	24
«На белый бал берез не соберу...»	26
Песенка о солдатских сапогах	27
Король	28
Ангелы	29
Первый день на передовой	31
Полночный троллейбус	33
Медсестра Мария	34
Новое утро	35
«Настоящих людей так немного!...»	36

Песенка об открытой двери	37
Песенка о Фонтанке	38
Московский муравей	39
«Часовые любви на Смоленской стоят...»	40
«Мой мальчик, нанося обиды...»	41
«Дома лучше (что скрывать?)...»	42
«Жизнь моя – странствия. Прощай! Пиши!...»	43
«Эта женщина такая...»	44
«Я уйду от пули, делаю отчаянный рывок...»	45
«Из окон корочкой несет поджаристой...»	46
Песенка о комсомольской богине	47
Искала прачка клад	48
До свидания, мальчики	49
«На арбатском дворе – и веселье и смех...»	50
«Не вели, старшина, чтоб была тишина...»	51
«О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой...»	53
«Горит пламя, не чадит...»	54
«Сто раз закат краснел, рассвет синел...»	55
Тамань	56
«На мне костюмчик серый-серый...»	57
«Магическое “два”. Его высоты...»	58
Песенка про Черного кота	59
«Рифмы, милые мои...»	60
«Раскрываю страницы ладоней...»	61
Три сестры	63
Бумажный солдатик	64
«...И когда под вечер над тобою...»	65
Джазисты	66
Арбатский дворик	68
Живописцы	69
Песенка об Арбате	70
«Над синей улицей портовой...»	71
«А мы швейцару: “Отворите двери!...”»	72
Каравай	73
«Разлюбила меня женщина и ушла не спеша...»	74
Старый пиджак	75
«Мы стоим – крестами руки...»	76
«Тьмою здесь все занавешено...»	77
Старый дом	78
Черный «мессер»	80
«Я жалею собак с нашей улицы...»	82

Песенка о Сокольниках	83
Осень в Кахетии	85
По Смоленской дороге	86
Дежурный по апрелю	87
О кузнечиках	88
«Когда известный русский царь в своей поддевочке короткой...»	89
Песенка о московских ополченцах	90
Гитара	91
«Непокорная голубая волна...»	92
Песенка веселого солдата	93
«В саду Нескучном тишина...»	94
Песенка о московском трамвае	95
«Допеты все песни. И точка...»	96
«Всю ночь кричали петухи...»	97
Песенка о пехоте	98
Шарманка-шарлатанка	100
Часики	101
«Шла война к тому Берлину...»	102
Чудесный вальс	103
В Барабанном переулке	104
Александр Сергееч	105
Отрада	106
Песенка про дураков	107
«Когда затихают оркестры Земли...»	108
«Земля изрыта вкривь и вкось...»	109
Музыка	110
«В чаду кварталов городских...»	112
Главная песенка	113
Ночной разговор	114
Старый король	115
Стихи без названия	117
Два великих слова	120
«Я никогда не витал, не витал...»	122
Четыре года	123
Ленинградская музыка	124
Как я сидел в кресле царя	125
«Затихнет шрапнель, и начнется апрель...»	127
«Он, наконец, явился в дом...»	128
«Нацеленный глаз одинокого лося...»	129
Божественное	130
Храмули	131

Фрески	132
1. Охотник	132
2. Гончар	134
3. Раб	135
«Человек стремится в простоту...»	136
Эта комната	137
«Ты — мальчик мой, мой белый свет...»	139
Тиль Уленшпигель	140
Счастливчик Пушкин	141
Житель Хевсуретии и белый корабль	143
«Мой город засыпает. А мне-то что с того?...»	144
«Вселенский опыт говорит...»	145
Март великодушный	146
«Мы приедем туда, приедем...»	147
«Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем...»	149
Последний мангал	150
Красные цветы	151
Оловянный солдатик моего сына	153
Дорожная фантазия	154
Замок надежды	156
Последний Пират	157
Старый флейтист	158
В городском саду	159
Молитва	160
«Вот странный инструмент для созиданья строчек...»	161
Фотографии друзей	162
«То падая, то снова нарастая...»	163
Разговор с рекой Курой	164
«Мгновенно слово. Короток век...»	165
Как научиться рисовать	166
Проводы юнкеров	167
Песенка о художнике Пиросмани	168
«В детстве мне встретился как-то кузнечик...»	170
Ленинградская элегия	172
Прощание с осенью	173
Времена	175
Одна морковь с заброшенного огорода	177
Из окна вагона	179
Зной	180
Осень в Царском Селе	181
Песенка про маляров	182

Прощание с Польшей	184
Письмо Антокольскому	185
«Друзья, не надейтесь на чудо...»	187
«Не верю в Бога и в судьбу, молюсь прекрасному и высшему...»	188
Цирк	189
«Разве лев – царь зверей? Человек – царь зверей...» . .	190
«Решайте, решайте, решайте...»	191
«Надежда, белою рукою...»	192
Встреча	193
Грибоедов в Цинандали	195
Душевный разговор с сыном	197
«Осень ранняя. Падают листья...»	198
«Мы едем на дачу к Володе...»	199
«Карандаш желает истину...»	201
Капли Датского короля	202
Прощание с новогодней елкой	204
Старинная студенческая песня	206
«Скрипят на новый лад все перья золотые...»	207
Путешествие в памяти	208
Грузинская песня	209
Песенка о дальней дороге	210
«Ваше благородие госпожа разлука...»	211
Путешествие по ночной Варшаве в дрожках	212
Белорусский вокзал	214
«Я вас обманывать не буду...»	216
«Поэтов травили, ловили...»	217
«Немоты нахлебавшись без меры...»	219
«Долго гордая упряжка...»	220
«На углу у гастронома...»	221
Большая перемена	223
«Среди стерни и забудок...»	224
«Живые, вставай-подымайся...»	225
«Песенка короткая, как жизнь сама...»	226
Арбатский романс	227
Песенка о Моцарте	229
Военные портняжки	230
Речитатив	232
Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину	234
Считалочка для Беллы	235
Послевоенное танго	238

«С каждым часом мы старее...»	239
Старинная солдатская песня	241
Жизнь охотника	242
Батальное полотно	246
На берегу Великого Океана	247
Баллада о гусаке	249
«Не слишком-то изыскан вид за окнами...»	250
Из фронтового дневника	251
«Не будем хвастаться, что праведно живем...»	253
«Убили моего отца...»	254
«Я маленький, горло в ангине...»	255
«Римская империя времени упадка...»	257
«Давайте придумаем деспота...»	259
«Чувствую: пора прощаться...»	260
Я пишу исторический роман	262
«Сестра моя прекрасная, Натела...»	265
«Берегите нас, поэтов. Берегите нас...»	266
Чаепитие на Арбате	267
Песенка кавалергарда	271
Лунин в Забайкалье	272
Кабинеты моих друзей	273
Боярышник «Пастушья шпора»	274
«Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет...»	276
Пожелание друзьям	278
Божественная Суббота, или Стихи о том, как нам с Зиновием Гердтом в одну из суббот не было куда торопиться	279
«Да здравствует Великий Понедельник!..»	281
«Заезжий музыкант целуется с трубою...»	283
«А мы с тобой, брат, из пехоты...»	285
«Я вновь повстречался с Надеждой — приятная встреча...»	287
«Стоит задремать немного...»	288
Сентябрь	290
Дом на Мойке	291
Пиратская лирическая	293
«Впереди идет сержант...»	295
«Мы стоим с тобой в обнимку возле Сены...»	296
«Канадский берег под моим крылом...»	297
«Понедельник, после вторник...»	298
«Я живу в ожидании краха...»	299

«Красный снегирь на июньском суку...»	300
«Сталин Пушкина листал...»	301
«Вот король уехал на войну. Он Москву покинул...»	303
Державин	304
«Шарманка старая крутилась...»	305
«Солнышко сияет, музыка играет...»	306
На смерть Бориса Балтера	307
«Оркестр играет боевые марши...»	308
«Антон Палыч Чехов однажды заметил...»	309
«Умереть – тоже надо уметь...»	310

Окуджава Б. Ш.
О52 Надежды маленький оркестрик: Лирика (50°—70°). —
Екатеринбург: У-Фактория, 2002. — 320 с.
ISBN 5-94176-058-2 ББК 84(2Рос=Рус)6

Булат Шалвович
Окуджава
**Надежды
маленький оркестрик**
Лирика
50°—70°

Составитель Л. Быков
Редактор С. Семухина
Художественный редактор
В. Солдатов
Технический редактор
Н. Овчинникова
Корректор М. Попова
Компьютерная верстка
С. Григорьевой

Лицензия ИД № 00845 от 25.01.2000
Подписано в печать 16.11.2001. Формат 70x90 ¹/₃₂.
Гарнитура Times ET. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 11,7. Усл. кр.-отт. 29,25.
Тираж 15 000 экз. (3-й з-д: 8 001—14 000 экз.) Заказ № 215

ООО «Издательский центр «У-Фактория»
620142, Екатеринбург, ул. Большакова, 77
Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

ISBN 5-94176-058-2



9 795941 760588





У Фактория